

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ!

АРТУРО
ПЕРЕС-РЕВЕРТЕ НА
ЛИНИИ
ОГНЯ

«На линии огня» – шедевр,
литературная глыба
и лучший роман Артуро
Переса-Реверте.

El Correo



Большой роман

Арту́ро Перес-Реверте

На линии огня

«Азбука-Аттикус»

2020

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)-44

Перес-Реверте А.

На линии огня / А. Перес-Реверте — «Азбука-Аттикус»,
2020 — (Большой роман)

ISBN 978-5-389-21232-9

1938 год, Гражданская война в Испании. Десять дней республиканцы и франкисты отбивают друг у друга городок Кастельетс-дель-Сегре, не имеющий особой стратегической важности. Интербригадовцы и фалангисты, ополченцы и «красные береты», мужчины и женщины, те, кто ушел воевать по убеждению, и те, кого забрали в армию против воли, храбрецы и трусы, те, кому нечего терять, и те, кому есть куда вернуться, – тысячи людей, которых объединяет очень многое, а разделяет только линия фронта, сражаются друг с другом и гибнут, не всегда помня, за что, и до последнего мига отчаянно не желая умирать. Это война – и она постепенно пожирает всех. «В какой-то момент понимаешь, – говорит Артуро Перес-Реверте, – что на гражданской войне нет добра и зла – есть только схватка одного ужаса с другим». «На линии огня» – роман о настоящей войне, где нет героизма, а есть только обнаженная, до скелета ободранная и порой героическая человечность и неотступный страх смерти. В этом грандиозном эпосе реальные свидетельства переплетаются с литературным вымыслом, а из маленьких историй множества людей складывается колоссальная пронзительная картина, в которой невозможно выбрать, на чьей ты стороне, потому что по обе стороны – просто люди, и «самое гнусное – что враг зовет мать на родном тебе языке». Впервые на русском!

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)-44

ISBN 978-5-389-21232-9

© Перес-Реверте А., 2020

© Азбука-Аттикус, 2020

Содержание

Часть первая. Тени на берегу	10
I	10
II	21
III	36
IV	51
V	69
VI	84
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Арту́ро Перес-Реверте

На линии огня

Arturo Pérez-Reverte
Línea de fuego

© 2020 by Arturo Pérez-Reverte

© А. С. Богдановский, перевод, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство ИНОСТРАНКА®

* * *

Пресса об Артуру Пересе-Реверте и «На линии огня»

Мы все знаем Артуру Переса-Реверте. Этот человек в выражениях не стесняется – он говорит ясно, за словом в карман не лезет и называет вещи своими именами. Этого человека сложно оскорбить – он сам кого хочешь оскорбит.

«На линии огня» – роман не о борьбе добра со злом, здесь нет героев и злодеев. Более того, едва начав читать, забываешь, на чьей ты стороне. Здесь все персонажи живые и все очень молоды, просто до неприличия молоды – мужчины, женщины и подростки, ополченцы и легионеры, республиканцы и франкисты.

Это гуманистический роман – и очень жестокий, как и Гражданская война, как любая война, в которой проигрывают все, а выигрывают очень немногие. Это ослепительная, зверская книга, выкованная из множества маленьких личных историй, которые переплетаются и складываются в великую катастрофу.

Esquire

«На линии огня» – не только роман о боях, стрельбе, крови, отваге, тяготах и неотступном страхе смерти (порой о страхе «сознательном, спокойном, не мешающем рассуждать и размышлять»); это сокрушительное динамичное повествование о людях, которые сходились лоб в лоб и гибли в этой беспощадной мясорубке. Надо думать, в глубине души Артуру Перес-Реверте посвятил эту книгу солдатам, которые сражались на этой войне, а затем, возвратившись домой, больше не обмолвились о ней ни словом.

Nueva Tribuna

Сочетая скрупулезность с изобретательностью, самый популярный испанский писатель создал не просто роман о Гражданской войне в Испании, но мощный эпик о мужчинах и женщинах на любой войне – историю беспристрастную и завораживающую.

Lecturalia

Грандиозная, шокирующая и глубокая работа – сплошь живая плоть и кости, ни грамма жира. Перед вами Артуру Перес-Реверте в зените своей литературной зрелости, свободный от любых условностей.

El Día de Valladolid

Арту́ро Перес-Реверте в лучшем виде. Его романы переплетаются друг с другом в сложную сеть, которую классика называла стилем, а современность – миром.

ABC Cultural

Этот роман не оставит равнодушным никого. Артуро Перес-Реверте знает, о чем говорит, и знает, как об этом рассказать.

ABC

«На линии огня» – военный эпик о смятении, беспомощности и страхе.

El Mundo

Исчерпывающий роман о Гражданской войне в Испании, грандиозный и увлекательный литературный проект – преодолевая время, он погружает нас в реальность истории и, вопреки жестокости сюжета, неодолимо завораживает.

La Vanguardia

«На линии огня» – великий роман.

El Confidencial

Этот роман, амбициозный и достоверный, избегает бинарного упрощенчества – это великая книга, призывающая к примирению.

El Cultural

Волшебная палочка Переса-Реверте не только умело создает вымышленных персонажей, которые населяют повествование с той же достоверностью, что и настоящие, но и позволяет автору разъяснить самые сложные вопросы простым и понятным языком.

La Gaceta Regional de Salamanca

Есть писатель, похожий на лучшую версию Спилберга, помноженного на Умберто Эко. Его имя – Артуро Перес-Реверте.

La Repubblica

Артуро Перес-Реверте знает, как удерживать читательское внимание страницу за страницей.

The New York Times Review

Этот роман бьет наотмашь – и читателю остается только ловить воздух ртом.

Corriere della Sera

Не успеваешь переверачивать страницы.

Publishers Weekly

Перес-Реверте дарит нам увлекательную и умную игру истории с вымыслом.

The Times

Типичный Перес-Реверте – радикально современный, умный и сложный. Каждая его книга создает неотразимую психологическую атмосферу.

The Boston Globe Book Review

Здесь рассказывается о том, как в ночь с 25 на 26 июля 1938 года в начале битвы на Эбро бойцы XI сводной бригады Республиканской армии – 2890 мужчин и 18 женщин – переплыли реку, захватили плацдарм у городка Кастельетс-дель-Сегре и удерживали его десять дней.

В действительности ни Кастильетса, ни XI бригады, ни войск, противостоявших ей «На линии огня», никогда не существовало. Но хотя номера воинских частей, названия населенных пунктов и имена персонажей вымышлены, зато события, деяния и люди, которые стали прообразами героев этой книги, вполне реальны. Именно так в те дни, в те трагические годы сражались по обе стороны фронта отцы и деды возможных читателей этой книги.

Об одной из самых жестоких и кровопролитных битв, когда-либо происходивших на испанской земле, – о боях на Эбро, в ходе которых погибло больше двадцати тысяч республиканцев и националистов, – существует обширный массив документов, включающий многочисленные прямые свидетельства, рапорты и донесения. На этом материале автор, сочетая скрупулезно выверенную реальность с вымыслом, используя личные и семейные воспоминания, и выстроил свое повествование.

Красные дерутся упорно, отстаивают каждую пядь земли и погибают мужественно. Они родились в Испании. Они – испанцы, и значит, храбрецы.

Хуан Ягуэ, франкистский генерал

Мы не были красными чудовищами, а они – фашистскими людоедами. И они, и мы – лучшие из них и из нас – были молоды и добры. Говорю это потому, что, как мне кажется, стало модно обливать нас и их грязью. Думаю, нам стоило бы сообща заткнуть клеветникам глотку.

Офицер 46-й дивизии Республиканской армии. «Альфамбра»

Понимать язык врага, говорить на одном языке с теми, кто убивает тебя и кого должен убить ты, – это сущее мучение, это невыносимо тяжкое бремя, легшее на наши плечи... Человек, который произносит слова «любимая» и «друг», «дерево» и «товарищ» в точности, как ты... Который выражает радость теми же словами и ругается так же, как ты. Который рядом с тобой, под одним знаменем, шел бы в атаку на чужеземных захватчиков.

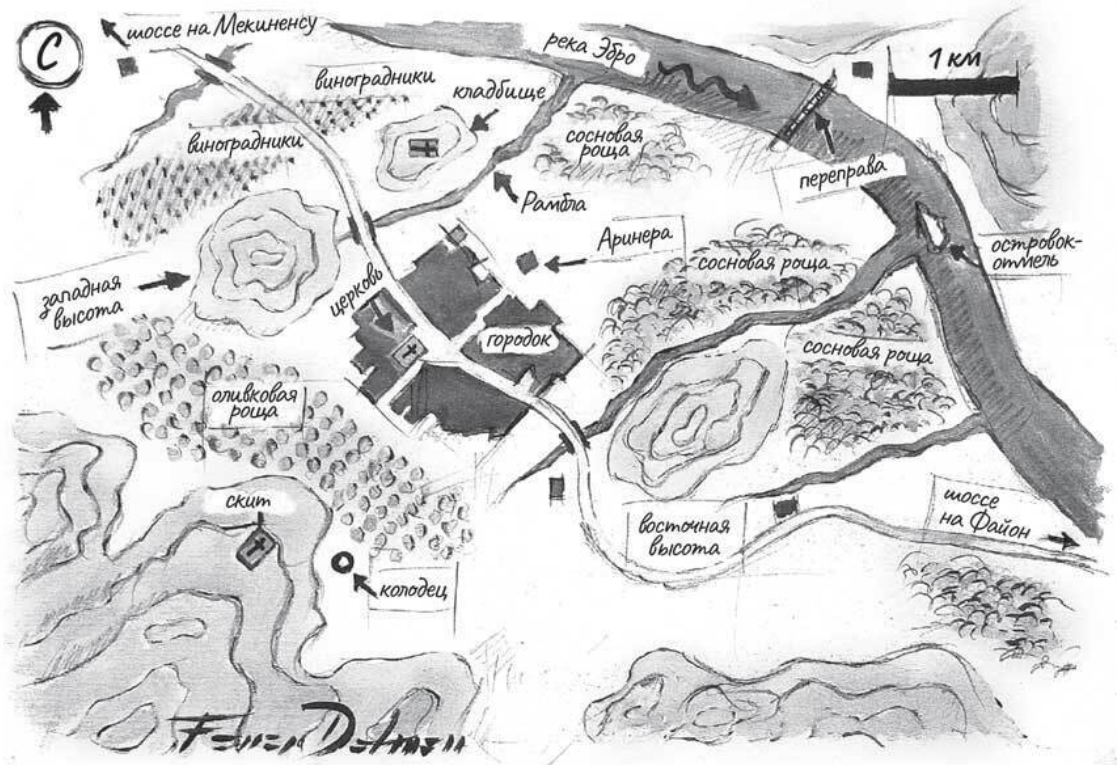
Рафаэль Гарсия Серрано. «Верная пехота»

Стойкость против упорства, отвага против храбрости, и – смею сказать – доблесть против доблести и героизм против героизма. Ибо в этой битве испанцы дрались с испанцами.

Висенте Рохо, начальник Генерального штаба Республиканской армии

О господи, какие звери. Но какие люди!

Артуро Барра. «Так выковывают мятежника»



Посвящается Аугусто Ферреру-Дальмау, баталисту

Часть первая. Тени на берегу

I

Время – 00:15; ночь безлунная.

Восемнадцать женщин из взвода связи, притаясь во тьме, неподвижно и немо смотрят, как движется к берегу реки густая вереница теней.

Ни слова, ни вдоха. Только шуршат сотни подошв по земле, влажной от утренней росы, да изредка негромко лязгнут, соприкоснувшись, винтовки, штыки, каски, фляги.

Цепочка темных силуэтов кажется бесконечной.

Взвод, присев у ограды разрушенного дома, уже больше часа ждет своей очереди выдвигаться. Исполняя приказ, никто не курит, не разговаривает и почти не шевелится.

Самой юной во взводе – девятнадцать лет, самой старшей – сорок три года. В отличие от ополченков, которых так любят фоторепортеры иностранных газет, но никогда не встретишь на передовой, никто не носит винтовку и патронташ. Подобное хорошо для пропаганды или для изустных легенд, но никак не для выполнения предназначенных им задач. Восемнадцать связисток к показухе не склонны: на боку у каждой пистолет, за спиной – тяжелый ранец, рации, антенны, два гелиографа, полевые телефоны, большие катушки с проводами. Все пошли на фронт добровольно, все здоровы, крепки, дисциплинированы, все либо «сознательные активистки» компартии, либо уже получили партбилет, все – лучшие из лучших, прошедшие подготовку в Москве или в мадридской «Школе Владимира Ильича» под руководством советских инструкторов. Только этих женщин включили в состав XI сводной бригады и доверили им форсировать реку. Их задача – не сражаться с врагом, а под неприятельским огнем обеспечивать связь на плацдарме, который по замыслу республиканского командования должен быть создан в секторе Кастельетс-дель-Сегре.

Патрисия Монсон – сослуживицы зовут ее Пато – меняет позу, чтобы ремни катушки с пятьюстами метрами провода не так больно врезались в плечи. Пато сидит на земле, опершись спиной о свою кладь, и смотрит на скользящие впереди темные фигуры, которые идут в бой – пока еще не начавшийся. Одежда ее вымокла от ночной росы и от сырого тумана, наползающего с реки. За спиной у нее катушка в деревянном решетчатом ящике, а потому вещевой мешок придется бросить здесь – его обещали доставить со вторым эшелоном; большие карманы синего комбинезона набиты всем необходимым – там вырезанный из автомобильной покрышки жгут, чтобы остановить кровотечение, индивидуальный пакет, носовой платок, две пачки сигарет «Лаки страйк» и фитильная зажигалка, личные документы, размноженный на гектографе план местности, который раздал им комиссар бригады, пара носков и запасные трусики, три тканевые прокладки и упаковка ваты на случай месячных, полкусочка мыла, банка сардин, ломоть черствого хлеба, техническое руководство по связи, зубная щетка, зубочистка, которую зажимают в зубах¹ во время обстрела или бомбежки, швейцарский нож со щечками из рога.

– Приготовиться... Сейчас и мы двинемся.

По взводу пробегает шумок. Пато Монсон облизывает губы, глубоко вздыхает, снова меняет позу, поудобнее прилаживая ремни на плечи, поднимает к небу голову в пилотке, надвинутой на брови. Никогда еще она не видела такого множества звезд.

¹ Зубочистка, зажатая в зубах, не позволяла плотно захлопнуть рот во время бомбежки или артобстрела и таким образом помогала уберечь барабанные перепонки от взрывной волны. Во время Гражданской войны в Испании все старались иметь при себе зубочистки. Детям зубочистки прикрепляли на ворот одежды. – *Здесь и далее примеч. перев.*

В настоящем бою ей предстоит участвовать впервые, но она руководствуется чужим опытом. Узнав, что через сорок два часа должна будет оказаться на другом берегу Эбро, она, как и почти все остальные связистки во взводе, остриглась наголо: на это имелись две важные причины – чтобы издали нельзя было определить ее пол и чтобы в ближайшие дни, когда будет не до гигиены, обезопасить себя от вшей и прочих паразитов. Благодаря этому она будто обрела черты двуполого существа и в облике двадцатитрехлетней девушки проступило сходство с мальчиком-подростком, чему еще больше способствуют пилотка, синий комбинезон, перепоясанный ремнем, который оттягивают фляга, кобура с пистолетом «ТТ-33» и две запасные обоймы. На шее у нее, связанные шнурками, висят подбитые гвоздями русские армейские ботинки, выданные неделю назад, еще не разношенные, а потому натершие волдыри на пятках, так что теперь приходится ей ходить в альпартгах.

– Подъем! Вот теперь и впрямь пора.

Это подал голос единственный во взводе мужчина – лейтенант-ополченец Эрминио Санчес. Его невысокая хрупкая фигура снует среди связисток. В темноте лица не разглядеть, но, наверно, оно такое же, как всегда, – худое, небритое, с постоянной улыбкой. Он – коммунист, как и большинство офицеров и сержантов в бригаде. Его любят, да и как не любить этого славного малого в роговых очках на носу, с башенками – эмблемами инженерных войск – в петлицах, с вечными прибаутками о священниках и монахинях на устах, с выбивающимися из-под фуражки завитками волос – рано поседевших и таких курчавых, что снискали ему прозвище Харпо².

– В одну шеренгу становись.

Тяжелое дыхание, приглушенный говор, звон амуниции – взвод в темноте поднимается с земли. Девушки, подталкивая друг друга, выстраиваются вдоль ограды, наугад выравнивают строй.

Стараясь не думать о том, что ждет их всех на другом берегу реки, и сама удивляясь, что чувствует не страх, а только сосущую пустоту под ложечкой, Пато вглядывается туда, где у кромки воды ждут *плавсредства* – рыбацьи лодки, баркасы, плоты. Для переправы через Эбро и высадки, предшествующей генеральному наступлению, в ходе которого Кастельетс окажется на самой оконечности западного фланга, Республика реквизировала от Мекиненсы до Средиземного моря все, что может держаться на воде.

– Вперед – и без шума, – шепчет Харпо. – Фашисты пока не догадались, что им готовится.

– Бог даст, когда догадаются, поздно будет, – отвечает женский голос.

– Если бы проваландались еще час, в самый раз было бы, – звучит другой.

– Наши уже начали переправу?

– Только что... Плывут с гранатами и легким вооружением на автомобильных шинах...

Мы их вчера видели.

– Чтобы в такую ночь да в таком месте лезть в воду, надо быть отчаянными ребятами.

– Но на том берегу пока тихо.

– Добрый знак.

– Хоть бы это продлилось, пока мы не высадимся...

– Ну, хорош болтать! Заткнуться всем.

Этот сердитый приказ отдан сержантом Ремедьос Экспосито. Ее хрипловатый, отрывистый, резкий голос – «московский говорок», как шутят ее подчиненные, – ни с чьим другим не спутаешь. Ремедьос – женщина сухая и суровая, настоящая коммунистка. Во взводе она старше всех годами и званием. Штурмовала казармы Ла-Монтаньи, обороняла Мадрид, месяц

² Харпо («Арфа») – прозвище Адольфа Артура Маркса (1888–1964), американского комика, участника комедийной группы братьев Маркс; частью его сценического образа был курчавый рыжий парик.

стажировалась в Ленинграде, в Академии связи имени Буденного. Вдова: мужа-синдикалиста убили в Сомосьерре в июле 36-го.

– Далеко еще до реки? – спрашивает кто-то.

– Отставить разговоры, кому сказано?!

Стараясь не споткнуться, держась за впередиидущего, они бредут в темноте. Только и света что от звезд, густо рассыпанных по небу.

Невидимая дорога полого спускается к берегу. Сейчас с обеих сторон уже смутно вырисовываются многочисленные кучки людей, застывших в ожидании. Пахнет пропотелой и грязной одеждой, ружейным маслом, мужским телом.

– Стой. Пригнись.

Пато, как и все, подчиняется. Лямки ящика с катушкой немилосердно врезаются в плечи, и, воспользовавшись заминкой, она, не снимая его, опускается на землю.

– Если кому надо облегчиться, – шепчет Харпо, – давайте сейчас.

Кто-то из девушек пытается присесть. Но Пато слишком неудобно – сначала надо снять ящик, расстегнуть комбинезон, а потом опять навьючиться, – а потому она решает помочиться прямо так, в чем есть. И, замерев, чувствует, как горячая влага течет меж ног, пропитывает штанины комбинезона, и так влажные от росы.

Висента Эспи, оказавшаяся рядом, поддерживает ее за плечо. Эта пухленькая красоточка работала на заводе Зингера, а года за два до мятежа Франко, разодевшись в пух и прах, представляла свой квартал на праздничном шествии в честь святого Иосифа. Валенсианка, как зовут ее подруги, тоже впервые участвует в боевой операции. В ранце у нее – два полевых телефона, каждый – по десять килограммов весом: русский аппарат «Красная заря» и второй, трофейный, взятый у фашистов под Теруэлем, – «Фельдферншпрехер НК-33». Она, как и Пато, состояла в молодежной коммунистической организации, а познакомились они четыре месяца назад в школе связистов – ходили в увольнение на танцы или в кино, делились девичьими секретами. Славная девочка эта Валенсианка, брат у нее – артиллерист, воюет на этом же фронте.

– Пописала?

– В штаны.

– Я тоже. Дай бог, чтоб повезло и сегодня ночью ничем больше не залились.

Они стоят рядом, плечом к плечу. Ждут. В тишине слышно только, как совсем близко шумит река и – приглушенно, но все же отчетливо – как идет погрузка в лодки. От этого берега до противоположного здесь – полтора метра. Пато сама подсчитала расстояние на плане: полтора метра воды, тьмы и неизвестности.

Харпо и сержант Экспосито, проходя вдоль строя, дают инструкции:

– В лодке уже есть двое гребцов, значит садимся по шесть человек в каждую, – вполголоса говорит лейтенант.

– Разве переправу не навели? – спрашивает кто-то.

– Понтонеры до рассвета не успеют, а мы отправляемся немедленно.

– А что будет, если по нам откроют огонь, когда мы будем на середине реки?

– Да ничего не будет – не кричать и вообще голос не подавать, пока не доплывете до того берега...

– Понятно? – припечатывает сержант.

– А если течением снесет?

– Товарищи, переправившиеся вплавь, протянули канаты с берега на берег... Над самой водой и чуть наискось, чтобы использовать течение.

– Понятно? – жестко и настойчиво повторяет Экспосито.

Ей отвечает общий утвердительный шепот.

– Ма-ать твою, какие девочки, – доносится с правой обочины мужской голос с хорошим мадридским выговором.

Эти слова тотчас подхватывает приглушенный мужской хор, где предвкушение перебивается комплиментами – подхватывает, но тут же смолкает, оборванный командой.

– Береги придатки, девчонки! – раздается напоследок чей-то шепот.

И снова – сосредоточенная тишина, которую нарушают только негромкие звуки, долетающие от воды. Пато слышит плеск воды под лопастями весел, стук дерева, звон железа, отданные полусшепотом приказы. На том берегу пока царит безмолвие. Девушка знает, что в эту самую минуту ниже по течению, между Кастельетсом и Ампостой, с извилистого берега, протянувшегося на сто пятьдесят километров, шесть республиканских дивизий по двенадцати направлениям форсируют Эбро, чтобы внезапно ударить по франкистскому гарнизону. Замыслы высокого начальства в подробностях неизвестны, но ходят слухи, что в ходе наступления планируется взять Масалуку, Вильяльбу, Гандесу и горную гряду Пандольс, чтобы оттуда двинуться к Средиземному морю и отбить захваченный Винарос.

– Пошли, – пролетает вдоль строя команда Харпо.

Пато идет вместе с другими, следом за Валенсианкой, углубляясь в заросли тростника, а тем, чем ближе к реке, тем гуще и доходят до пояса. Мокрые штанины студят бедра, по телу пробегает озноб, и девушка стискивает зубы, чтобы не стучали, а то кто-нибудь решит, что это у нее со страху, а не от холода.

Все рыхлее и влажнее почва. Ноги в альпаргатах вязнут по щиколотку: земля раскисла от сотен ног, а дальше становится настоящим болотом.

– Стой. Первая шестерка – в лодку.

Вот теперь в отраженном свечении звезд на воде можно различить темные силуэты лодок. Стучат, сталкиваясь, борта, чавкает жидкая грязь, плещет вода. Гребцы вполголоса, стараясь, чтоб вышло потише, поторапливают связисток:

– Руку, руку давай сюда, хватайся... Давай же. Вот так, хорошо.

Черный как ночь берег усеян россыпями светлых пятнышек. Пато засматривается на них, но в этот миг чувствует, что вот-вот потеряет завязшую в земле альпаргату, и наклоняется потуже завязать ремешки. Прежде чем снова выпрямиться, с удивлением и интересом рассматривает берег, по которому, как на празднике, будто рассыпаны сотни конфетти.

– Вторая шестерка – пошла... Шевелитесь.

Пато снимает ящик с катушкой, ставит его в лодку. Если вдруг что пойдет не так, не хотелось бы барахтаться в воде с таким грузом за спиной. Хватит и того, что карманы комбинезона набиты всякой всячиной. Потом упирается руками в борт, переносит поочередно обе ноги – и оказывается в узкой лодке, вплотную к своим товаркам. Рядом плюхается Валенсианка. Кто-то отталкивает лодку от берега, слышится стук весел о дерево.

– Хватайтесь за канат и подтягивайте лодку, помогайте гребцам и течению, – говорит рулевой.

Обдирая ладони о толстый мокрый канат, шесть девушек выполняют приказ. Слышно их тяжелое дыхание. На противоположном берегу по-прежнему тихо: очевидно, что фашисты пока ничего не заметили, однако в любую минуту все может перемениться. Все знают это и потому стараются, чтобы лодка как можно быстрее двигалась к темной полоске берега – с каждой минутой она видна все отчетливей.

В этот миг до Пато доходит наконец, откуда взялись сотни бумажных клочков на берегу: прежде чем отправиться навстречу ближайшему и совершенно неведомому будущему, в прямом и переносном смысле окутанному мраком, все бойцы штурмового отряда уничтожают свои документы – членские билеты компартии, профсоюзов, Федерации анархистов и прочие. Неизвестно, что произойдет в первые минуты боя, но, если попадешь в плен, такая книжечка может стоить тебе жизни.

Это открытие обрушивается на нее как оплеуха, и впервые за эту ночь смутная тревога уступает место страху. Настоящему и небывалому еще – теперь она ясно сознает это

– страху: сильная непонятная дрожь, зародившись где-то в паху, медленно поднимается к животу, охватывает грудь, доползает до пересохшей глотки, до головы, отуманенной предчувствиями. Сердце бешено колотится, холодеет, будто заволоченное стыллой, серой, грязной пеленой.

И Пато, охваченная этим ужасом – неизведанным доселе, не похожим ни на что прежде испытанное, – выпускает из рук канат и торопливо роется в карманах, отыскивая партбилет; находит его, рвет в клочки, бросает за борт.

В сотне шагов от берега пехотинец Хинес Горгель Мартинес, который сидит в своей стрелковой ячейке, положив винтовку Маузера на бруствер, а стальную каску – на землю, ощупью насыпает табак из кисета, сворачивает самокрутку, проводит языком по краю бумажки, заклеивая ее, вертит в пальцах, подносит ко рту. Темень такая, что видны только белые пятна его рук.

На аванпостах курить запрещено, но до смены – еще три часа, а начальства поблизости не видно. Хинеса никак нельзя считать образцом дисциплинированного солдата, выполняющего все приказы, – скорее наоборот. Ему тридцать четыре года, он умеет читать и писать, знает четыре правила арифметики. В его послужном списке – если бы таковой сейчас у кого-нибудь имелся – было бы отмечено участие в боевых действиях при Брунете и под Теруэлем, но в обоих эпизодах он старался в самое пекло не лезть, благо к такому поведению у него прирожденный талант. Любого врача спроси – он тебе скажет, что пули и осколки чрезвычайно вредны для здоровья.

Горгель, достав из кармана зажигалку, сгибается в три погибели, чтобы высеченная искра была незаметна, крутит колесико и прикуривает от дымящегося фитиля. Пряча самокрутку в ладони, глубоко затягивается, а потом надевает каску, приподнимается немного, вглядывается в чернильную черноту: не слышно ничего, кроме сверчков, не видно ничего, кроме звезд. Даже ветер стих. Убедившись, что все спокойно, солдат снова усаживается на дно окопа, спиной к реке.

Он не видит, но знает, что слева и справа от него в таких же окопчиках сидят его товарищи. Двести метров берега они держат вшестером, что заставляет усомниться в умственных способностях тех, у кого под началом войска, обороняющие сектор Кастельетс, – половина пехотного батальона, *табор*³ марокканцев и рота легионеров. Всех их, думает он, так же клонит в сон от скуки, как и его самого. На фронте – затишье, а слухи о готовящемся наступлении противника – слухи и есть, а веры им нет. Кроме того, имеется прекрасная естественная преграда – река. И поставлены проволочные заграждения. Вот потому, скорчившись на дне ячейки, закрыв от ночной росы ноги лапами шинели, удостоверившись, что ни с боков, ни сзади никто не заметит огонек его сигаретки, Горгель покуривает в свое удовольствие.

Покуривает и думает, что не будь реки между ним и красными, он перебежал бы к ним. Да, если бы не было реки и хватило бы духа.

Эта мысль уже не раз приходила ему в голову, потому что Альбасете, откуда он родом, находится в республиканской зоне. В Альбасете у него остались жена, сын, вдовья мать, сестра, а он вот служит в неприятельской армии оттого лишь, что так карта легла: 18 июля 1936 года в Севилье, где он тогда работал, его мобилизовали. В сущности говоря, он по профессии плотник, в политике не разбирается, ни в каких организациях, включая футбольный клуб, сроду не состоял, ему что те, что эти – все едино. Однажды, правда, голосовал за левых, но когда же это было? Кончится же когда-нибудь эта война, и кто бы ни победил, людям снова понадобятся двери, окна, столы и стулья взамен переломанных за последние годы. И потому при мыслях о семье – а письма, которые он посылает кружным путем, через одного родича, осевшего во

³ В туземных войсках – подразделение, примерно соответствующее батальону.

Франции, либо не доходят, либо остаются без ответа – Горгеля охватывает самая черная тоска. И таких, как он, много и на той стороне, и на этой.

Да, хватило бы духу, давно перешел бы линию фронта. Однако расхолаживает история четверых однополчан, которые попытались было перебежать, но попались и были расстреляны. Впрочем, сейчас уже и смысла нет рисковать – все твердят в один голос, что скоро войне конец: красные терпят поражение за поражением и им, по всему видать, крышка. А раз так, имеет смысл держаться националистов и сейчас, и когда, бог даст, вернется в Альбасете. И возьмется за плотницкое свое ремесло.

Он бережно гасит окурок и прячет его в кисет: шесть недокуренных самокруток – все равно что одна целая, и тут ему чудится какой-то звук, донесшийся от реки: как будто стукнуло дерево о дерево. Выпрямившись в своем окопчике, он вглядывается в берег, но взгляд тонет в непроницаемой тьме. Потом смотрит налево и направо, на соседние ячейки, где сидят его товарищи. Но и там ничего – ночь да безмолвие.

Ненавижу эти проклятые караулы, думает он.

И совсем уж было собравшись снова скорчиться на дне, вдруг отмечает, что тишина теперь стала совсем уже полной – смолкли сверчки, трещавшие в кустах. Немного удивившись, он снова пытливым взглядом всматривается во мрак, окутывающий все пространство от окопа до реки. Ничего подозрительного не улавливает – когда сидишь в передовом охранении, чего только не примерещится, – но все же решает не расслабляться. Настораживают эти внезапно стихшие сверчки.

Подумав немного, он достает две гранаты «лафитт», кладет их на бруствер окопчика, у приклада винтовки. Эти ручные бомбы – ударного действия, а в боевое состояние приводятся во время броска, когда разматываются четыре витка ленты, выдергивающей чеку. Капризная штука: взрывается иногда на середине полета, убивая не врага, а того, кто метнул. Потому их и прозвали «беспристрастными». Но что есть, тем и воюют: красные тоже их используют и тоже от них страдают. Везят они почти полкило, а летят, в зависимости от силы броска, метров на двадцать-тридцать. На всякий случай Горгель снимает с обеих проволочные рогатки-предохранители – теперь гранаты готовы к бою.

И все-таки он колеблется. Если в такой час поднять тревогу, в соседних окопах немедленно откроют вслепую беспорядочную стрельбу, которая перебудит все расположение – и офицеров, само собой, тоже. А если она окажется ложной, им это вряд ли понравится. И по головке за это не погладят. Будут неприятности, а зачем они ему? – ни малейшей склонности у него к ним нет, и не уговаривайте даже. Так что лучше удостовериться точно, а уж потом вступать в бой на свой страх и риск. К числу его достоинств относится умение действовать скрытно, не раз спасавшее ему жизнь. Осторожность – мать мудрости, как уверяют ученые люди. Ну или что-то в этом роде. А его, за два года не получившего ни единой царапины – ни за Бога, ни за отчизну, – в самом прямом смысле можно счесть стреляным воробьем.

Ну, Хинес, шевелись, говорит он себе. Не жди, когда свалится тебе на голову.

Но в эту минуту он делает лишь то, что в его силах, – застегивает подбородный ремешок каски, берет винтовку: гранаты не в счет. Из пяти патронов в обойме, которую он вставил в маузер, заступая в караул, один уже дослан в ствол, так что Горгелю остается лишь снять оружие с предохранителя и положить указательный палец на спуск. Потом он вытягивает шею и напрягает зрение, чтобы хоть что-нибудь разглядеть в темноте. И наостряет уши.

Ничего.

Ни света, ни звука. Тишина.

Однако сверчки молчат как молчали.

Но зато теперь явственно доносится прежний звук – как будто ударило дерево о дерево. Доносится откуда-то издали, со стороны черного берега. Разумеется, это может быть все что угодно. Но могут быть и красные. Там нет ничего, кроме проволочных заграждений, и свои

там не ходят – тем более в темноте. И потому совершенно лишне окликать: «Стой, кто идет?» – или требовать: «Пароль!» Так что Горгель, не мудрствуя, откладывает винтовку, берет в руку гранату, привстает, чтобы размахнуться как следует, и швыряет ее изо всех сил в сторону реки. И, еще не дав грохнуть первой, бросает ей вслед вторую.

Пум-ба. Пум-ба.

Два разрыва с интервалом в две-три секунды. Две стремительные оранжевые вспышки разносят мотки колючей проволоки, укрепленные на железных опорах. И на миг высвечивают десятки черных фигурок – густо, как муравьи, они медленно продвигаются от берега.

Увидев такое, Хинес Горгель, оставив шинель и винтовку, выскакивает из окопчика и в страхе мчится к позициям своих.

Хулиан Панисо Серрано, вымокший и вымазанный тиной по грудь – лодка, на которой он переправлялся, оказалась из гнилого дерева и у самого берега погрузилась в воду, – пригибаясь, лезет вверх по склону, поросшему кустарником.

Трудно двигаться в мокрой, облепленной илом одежде, таща на горбу двадцать шесть килограммов груза – автомат МР-28 II с длинными магазинами на тридцать шесть патронов, нож, подсумки, ранец, моток запального шнура, детонаторы и тротилловые шашки. Кроме всего этого, он вместе с напарником несет автомобильное колесо, с помощью которого можно будет преодолеть проволочные заграждения. Эти двое, как и еще восемьдесят человек из саперной роты Первого батальона, идут в первой линии атаки на городок Кастельетс. Им предстоит расчищать подходы.

Поначалу все шло хорошо – высадились благополучно и тихо, скрытно начали приближаться – пока справа и очень близко не разорвались одна за другой две гранаты. Потом там и тут по всему фронту засверкали вспышки, затрещали выстрелы, зазвучал глухой грохот взрывов. Покуда, и по счастью, противник лупит наугад, вслепую и кто во что горазд – очевидно же, что атаки он не ждал и какими силами она предпринята, не знает, – хотя время от времени поблизости разрывается граната, и вот только что пулеметная очередь, ударив слева, высекла искры из камней между кустов.

– Живей давай!

Это кричит Панисо своему напарнику: тот споткнулся в темноте и припал к земле, спрятавшись за колесом. Напарника зовут Франсиско Ольмос, он тоже из Мурсии, бывший шахтер, коммунист с 34-го года, когда членов партии было, можно сказать, наперечет – это уж потом, при обороне Мадрида они показали такую железную дисциплину, проявили такую стойкость, что превратились в решающую силу, стали ядром народной армии, которая пришла на смену пылким, но неумелым ополченцам. И Панисо, и Ольмос – сперва подрывники-самоучки, потом саперы – участвовали едва ли не во всех сражениях, какие только были после фашистского мятежа, не пропустили ни Мадрида, ни Санта-Мария-де-Ла-Кабеса, ни Брунете, ни Бельчите, ни Теруэля. Что называется, прошли славный боевой путь.

Задача им поставлена такая: когда переберутся через проволочные заграждения, взорвать блокгауз, откуда пулемет – судя по звуку: ра-та-та-та, ра-та-та-та, ра-та-та-та – это «гочкис», машинка эффективная и смертоносная – бьет по левому флангу наступающих республиканцев. Пулеметчики, кажется, не вполне еще оправались от неожиданности и не обрели должную сноровку, а потому садят длинными очередями беспорядочно и суматошно, однако скоро, надо полагать, поведут прицельную стрельбу. И огонь будет губительным, особенно когда рассветет. Именно поэтому Панисо, Ольмос и еще четверо – те, кому приказано уничтожить пулеметное гнездо, – весь вчерашний день провели на противоположном берегу, рассматривая в бинокль будущее место действия. Изучив все до последнего кустика и камешка.

– Шевелись, шевелись, черти.

С этими словами он оборачивается и помогает напарнику тянуть за собой тяжеленную шину. И натывается в темноте на колючую проволоку. Встреча вышла неприятная – острые шипы разодрали ему брючины на коленях. Ругаясь сквозь зубы, он высвобождается, а потом, почти ошупью, вместе с Ольмосом, бросает скат на проволоку, пригибая ее к земле. Карабкается по нему и спрыгивает по другую сторону заграждений, а за ним – и остальные пятеро.

Теперь уже вдоль всего берега идет ожесточенная пальба, а кто-то совсем рядом бьет из винтовки, но все мимо. Может быть, франкист заметил, как они перебирались через проволоку, и выпустил пару зарядов почти наугад. «Заметил» – это ведь только так говорится: ничего заметить невозможно. Тьма, тени, вспышки выстрелов. Панисо и его люди не отвечают, чтобы не выдать себя. Всею свое время.

– Куда же, к черту, деревья подевались? – недоумевает Панисо.

– Впереди вроде.

– «Вроде»?

– Точно тебе говорю. Метрах в тридцати.

– Уверен?

– Как в победе пролетарской революции.

Он столько раз рассматривал местность при свете дня, что сейчас словно держит ее план перед глазами: несколько отдельно стоящих сосен, небольшая лощина и – на пригорке – блокгауз. Несмотря на сырой ночной холод, Панисо страшно жарко. Он знает – это от напряжения. Так уже бывало, и не раз. Когда он выпрямляется и шагает вперед, держа палец на спусковом крючке, обильный пот перемешивается с грязью, облепившей лицо и одежду. Когда успокоюсь, думает он, в дрожь бросит. Однако ему еще долго не удастся успокоиться, и, прежде чем это произойдет, придется навсегда успокоить других. Тех, кто сейчас так шумит.

Ра-та-та-та, ра-та-та-та, ра-та-та-та. Треск пулемета помогает ориентироваться, и сапер, пригнувшись, уверенно движется вперед, пока вытянутая перед собой ладонь не липнет к смолистому стволу сосны. Мы почти на месте, соображает он. Вот и лощинка, куда прыгают все шестеро. Шагах в двадцати, не дальше, короткими, на четыре патрона, очередями бьют «гочкисы», вспышки сверкают наверху как мерцающие звезды, и высоко над головами проходят трассы.

Панисо опускает автомат и прочее снаряжение на землю, проводит ладонью по лицу. На то, что предстоит ему теперь, надо идти налегке.

– Давай удочку.

Ольмос из-за спины протягивает ему раздвижной шест, а Панисо готовит толковую пашку, отматывает несколько метров запального шнура, снимает притертую крышку с жестяной коробки, где лежат детонаторы и зажигалка. На ошупь, тысячекратно отработанными движениями, бывший шахтер прикрепляет килограмм взрывчатки к шесту, обматывает брикет несколькими витками черного пластыря.

– Всем отойти... Назад, назад.

Чем ближе Панисо и Ольмос к блокгаузу, тем оглушительней бьет по ушам грохот пулемета. Открыв рот, чтобы не лопнули барабанные перепонки, Панисо останавливается на миг и заслоняет от ветра Ольмоса, а тот поджигает запальный шнур, рассчитанный на сорок пять секунд горения.

– С дороги, *Маноло идет*.

Этими условными словами предупреждают друг друга шахтеры в Уньоне, что заряд установлен и скоро взорвется. Ольмосу дважды повторять не надо: он отступает в темноте, меж тем как Панисо продолжает осторожно продвигаться вперед. Ползком, обдирая локти и припадая к земле при каждой вспышке. Он – в самом темном и глубоком месте лощины.

Пять, шесть, семь, восемь... – считает он. Девять, десять, одиннадцать... Ноздри ему щекочет запах тлеющего запального шнура, знакомый, как запах табака. Взглянув наверх, он

видит вспышки выстрелов всего лишь в трех метрах от себя: еще немного – и можно будет дотянуться шестом. И он пристраивает его под амбразурой, так чтобы изнутри было не заметно.

Это не бетонный блокауз, а обычный каземат из бревен, камней и мешков с песком. Хотя тротильный заряд рванет снаружи, у него хватит мощи разнести огневую точку вдребезги.

Двадцать один, двадцать два, двадцать три...

Панисо взмок, что называется, как мышь и потому должен поочередно вытереть руки о землю, чтобы шест не выскользнул из влажных пальцев.

Он проделывал все это много раз, но всегда – как впервые.

Двадцать девять, тридцать...

От напряжения он, сам того не замечая, тяжело дышит. Чтобы убраться отсюда, у него пятнадцать секунд. И, прислонив шест к нижней части бруствера, он – сперва ползком, потом на четвереньках и, наконец, бегом – возвращается к своим.

Сорок, сорок один, сорок два...

Досчитав до сорока трех, подрывник ничком падает на землю, широко открывает рот, обхватывает обеими ладонями затылок. И в этот миг взрыв ослепительной вспышкой озаряет небо позади, выкачивает воздух из легких и ударной волной подбрасывает Панисо на несколько сантиметров.

Маноло свое дело знает.

Мимо проносится быстрая вереница звуков, топот бегущих, и полуоглохшему Панисо кажется, что он различает вдали голоса. Когда же он снова открывает глаза, Ольмос и четверо остальных саперов гранатами и короткими автоматными очередями зачищают то, что осталось от пулеметного гнезда.

Хулиан Панисо с улыбкой отряхивается, вытирает рукавом мокрое лицо.

Это было, думает он, вроде как хорошую палку бросить.

Взвод связи высадился благополучно, и девушки лежат на берегу, еще почти у самой воды, в ожидании команды двигаться дальше. Над головами с обманчивой медлительностью полосуют небо трассы выстрелов; ночную тьму густо кропят вспышки.

Противник не оказывает сильного сопротивления, потому что от реки вперед, во тьму бегут все новые и новые темные фигурки, и кажется, никакой силой не остановить их, не обратить вспять. По грохоту гранат понятно, что уже идет штурм неприятельских траншей. Сквозь трескотню выстрелов и гул разрывов – они все отдаленней, и это добрый знак, указывающий, что франкисты отступают – пробиваются ободряющие голоса офицеров и комиссаров.

– Хорошо их дрючат, – говорит кто-то.

Пато Монсон, уже снова навьючившая на себя катушку с проводом, лежит вниз лицом на голой земле, чувствуя, как впиваются ей в живот и бедра камни и твердые комья земли. Одежда еще не высохла – когда высадилась, воды было по пояс, – а стылый ночной воздух никак не дает согреться. Широко открыв глаза, она заворуженно смотрит на оказавшийся так близко фейерверк войны: раньше Пато даже не могла вообразить себе его жуткое великолепие.

Светящиеся пули чертят по небу замысловатые узоры трасс, перекрещиваются, заставляя звезды тускнеть, а время от времени безмолвная вспышка, которую через секунду догоняет грохот разрыва, вырывает из темноты пригорок, деревья, кустарник, россыпь далеких домиков. Тогда становятся видны черные против света фигурки бегущих и стреляющих людей.

– На наши валенсийские празднества похожи, – удивленно говорит Валенсианка.

Накануне Пато досконально изучила план и потому примерно представляет себе, что происходит: Капельетс – впереди, километрах в трех, и, судя по стрельбе и взрывам, бой идет уже на окраинах. XI сводной бригаде поставлена задача перерезать шоссе между Мекиненсой и Файоном, проходящее через центр городка; чтобы обеспечить высадку и продвижение новых войск, совершенно необходимо взять высотку, где расположено кладбище. Вот почему там,

справа от моста, идет такой ожесточенный бой. Вот почему там пальба и разрывы звучат чаще и громче.

– Хорошо устроились, товарищи? Любуетесь зрелищем?

Это Харпо, лейтенант Эрминио, с неизменным шутивным благодушием пробирается мимо своих девушек: кого похлопает по плечу, кому даст хлебнуть из фляжки, чтобы согреться. Ему отвечают утвердительный хор голосов разной степени убежденности и даже шуточки: моральный дух по-прежнему высок. Кто-то спрашивает, почему не слышно республиканской артиллерии.

– Потому что мы слишком близко к позициям *франкилистов*, – отвечает лейтенант. – В таких случаях своим обычно достается больше, чем противнику, так что пусть лучше артиллерия пока не вмешивается. Подаст голос, когда все станет ясно, а мы укажем ей, куда бить. В числе прочих задач мы, связистки, здесь и за этим тоже.

Пато улыбается в темноте: Харпо никогда не отделяет себя от своего девичьего взвода. Он дельный офицер и славный мальчик.

– А наши танки и орудия тоже переправятся?

– Когда рассветет, понтоны наведут мосты, чтобы перебросить подкрепление и выючных мулов. И обеспечат переправу грузовикам и танкам. Два дня назад я видел их – они скрытно накапливались в оливковой роще. А мы протянем связь с одного берега на другой.

Пато смотрит вдаль. И там в этот миг распускается исполинский цветок разрыва, взметнув к небу сноп оранжево-красных искр, как будто взлетел на воздух целый склад боеприпасов. Грохот долетает две секунды спустя, значит взорвалось метрах в шестистах. Харпо смотрит в ту же сторону, что и Пато. Отражая зарево, вспыхивают под козырьком его фуражки линзы очков.

– Черт возьми, – говорит он.

И оборачивается к своим связисткам:

– Когда возьмут кладбище, мы протянем еще одну линию и свяжемся с городом. Штаб бригады разместится где-то там. – Он достает из кармана фонарик. – А ну-ка, заслоните меня от света и набросьте что-нибудь сверху.

Несколько девушек становятся в кружок. Пато просовывает голову под натянутое одеяло, оказавшись рядом с Валенсианкой и сержантом Экспосито. Лейтенант расстилает на земле карту местности – уменьшенные копии раздали связисткам – и освещает ее слабым лучом фонарика.

– Вот эти высоты – 387 и 412 – окружают Кастельетс с запада и с востока, – говорит он, показывая их на карте. – Замысел в том, чтобы взять обе и перекрыть шоссе... Но вот на эту, левую, нельзя попасть, не отбив сначала кладбище. Понятно?

Выслушав утвердительный ответ, Харпо смотрит на свои часы-браслет – стрелки показывают 01:47. Надо бы разведать, как там и что, говорит он. Разведать и протянуть надежную связь. К рассвету все должно быть в порядке.

– Я пойду, – говорит Пато.

Лейтенант и Экспосито смотрят на нее испытующе.

– Почему ты?

– Замерзла. – Пато пожимает плечами. – А так – разомнусь, согреюсь.

– Смотри, как бы жарко не стало, – роняет сержант.

Лейтенант подмигивает Пато. Гасит фонарик, прячет карту.

– Катюшку свою здесь оставь.

Пато с облегчением избавляется от увесистой клади. Харпо кладет ей руку на плечо:

– Оружие есть?

– ТТ.

– Сколько запасных обойм?

– Три.

– Хочешь, дам тебе парочку гранат?

– Нет, и так тяжело.

– Дело твое... Когда пойдешь, смотри в оба, постарайся не влипнуть ни во что. На кладбище спросишь майора Фахардо из Второго батальона – он отвечает за этот сектор. Если он даст согласие, летишь обратно и мне докладываешь.

Пато чувствует легкий укол недоверия. Ей уже приходилось видеть, что на войне планируют одно, а на деле выходит совершенно другое.

– Я вас еще застаю здесь?

– Здесь или чуть подалее, если наши возьмут городок, – отвечает лейтенант, чуть поколебавшись. – Это зависит от того, насколько ты удержишься.

– Постараюсь обернуться поскорей.

– Надеюсь на тебя. – Харпо протягивает ей почти пустую фляжку с водкой. – Если уйдем, оставлю тут кого-нибудь из девчонок предупредить тебя.

– Все ясно? – с обычной резкостью рявкает Экспосито.

Пато, коротко отхлебнув, возвращает флягу, вытирает губы ладонью и чувствует, как жгучая влага медленно прокатывается через гортань в желудок. И наверно, благодаря ее бодрящему действию в голове проясняется, тело наливается веселой силой: куда лучше делать что-то конкретное, чем лежать, окоченев, на земле и взирать на происходящее издали.

– Ясней не бывает, товарищ сержант.

Выстрелы и взрывы не заглушают неуставной смех Харпо.

– Что ж, тогда – тореадор, смелее в бой! Благо тореадор у нас такая милашка. И – да здравствует Республика!

– Здесь нет милашек, – сухо возражает Экспосито.

Лейтенант снова смеется. Смутить его нелегко.

– Если девушка вызвалась идти на кладбище, когда вокруг такое творится, – отвечает он, не меняя шуточный тон, – она не то что милашка, а просто-таки Грета Гарбо.

II

Втягивая голову в плечи каждый раз, как вблизи раздается взрыв или свистит шальная пуля, оскальзываясь на камнях, спотыкаясь о кустарник, Хинес Горгель мчится в темноте.

Легкие у него горят, удары крови в висках оглушают, дышит он часто и прерывисто. Вокруг он видит такие же несущиеся тени, но не знает, свои это или чужие – то ли красные атакуют, то ли франкисты удирают.

Он хочет только одного – добежать до предместья Кастельетса и спрятаться в одном из крайних домов.

Справа от него короткими очередями, но с широким охватом, бьет пулемет, и бьет он, кажется, в сторону реки. Хинес вспоминает, что из двух пулеметных гнезд, прикрывающих берег, одно расположено как раз здесь, на входе в городок. Второе, слева, молчит, и, надо полагать, либо прислуга бросила его, либо красные подорвали.

Ориентируясь на стук «гочкиса», он ищет дома и с размаху натывается на ограду. И от удара падает навзничь. Потом, потирая ноющий лоб, встает, подпрыгивает и переваливается через стену, не удержавшись на ногах.

– Стой, кто идет? – останавливает его чей-то голос.

И прежде чем Хинес Горгель успевает ответить, гремит выстрел. Вспышка, грохот, и в стену над самой головой ударяет пуля.

– Испания, Испания! – кричит он в смятении.

– В рот тебе Испанию!.. Пароль!

Лязг передернутого затвора – новый выстрел и новый удар пули в стену. Горгель поднимает руки, что в такой тьме совершенно бессмысленно. И внезапно вспоминает сегодняшней пароль:

– Морена Клара!

За клацаньем затвора, дославшего патрон, следует тишина, размеченная выстрелами и разрывами. Кажется, что это призадумалась сама винтовка.

– Руки вверх, ладони на затылок и подойди сюда.

Хинес Горгель, дрожа всем телом, выполняет команду. Туп, туп, туп, печатает он шаги, стараясь, чтоб было четко. Туп, туп.

Пять шагов – и в грудь ему упирается ствол. Его окружают настороженно-угрожающие тени. В полутьме различимы два или три белых тюрбана – это мавры. Но тот, кто обращается к нему, – явный европеец.

– Ты кто такой и откуда идешь?

– Хинес Горгель, рядовой 2-й Монтеррейской роты... Сидел в передовом охранении у реки...

– Что ж ты так хреново охранял? Красные подобралась незаметно.

– Это я поднял тревогу.

– Честь и слава тебе, герой.

– Ей-богу. Первые две гранаты бросил я.

– Ну ладно... Поверю на слово. Давай шагай вперед. Как дойдешь, спросишь майора Индурайна и расскажешь ему, что видел. Он налаживает оборону у церкви. Иди по первой улице, никуда не сворачивай, тогда и в темноте не заблудишься.

– А вы-то кто такие?

– XIV табор. Регуларес⁴ из Мелильи.

⁴ *Регуларес* (Регулярные туземные силы, *Fuerzas Regulares Indígenas*) – элитные части испанской армии, укомплектованные марокканцами и во время Гражданской войны активно действовавшие на стороне Франко.

– А что вообще происходит?

– Понятия не имеем. Известно только, что красные форсировали реку и лупят наших в хвост и в гриву.

Хинес Горгель, ощупью продвигаясь вдоль стен первых домов, идет дальше и размышляет. Если на передовую вывели мавров, значит линия обороны у Эбро прорвана. Еще вчера 14-й табор – марокканцы под командой европейских офицеров и сержантов – был расквартирован на другом конце Кастельетса и сидел себе спокойненько в резерве. А раз он здесь, то сто пятнадцать человек из пехотного батальона, державшего фронт на берегу, либо рассеяны, либо перебиты. И заткнуть образовавшуюся брешь бросили мавров.

У церкви он видит скопище растерянных людей.

В свете автомобильных фар движутся несколько десятков солдат, а вокруг старики, женщины и дети тащат свои пожитки в узлах или катят на тачках. На площади – суета, толкотня, сумятица, прорезаемые отчаянными воплями и резкими выкриками команд. Полная неразбериха. Многие солдаты, стоящие вперемежку с маврами, полуодеты или безоружны – понукаемые командами сержантов и капралов, они сбиваются в кучу, как боязливое овечье стадо. Те, кто сохранил самообладание – в большинстве своем мавры, одетые по форме, с винтовками и вещмешками, – строятся в шеренги. Перед церковью на голой земле лежат раненые, никто их не перевязывает. Из переулков на площадь подтягиваются еще и еще – одни на своих ногах, других несут товарищи.

В звездное небо тычется темная игла колокольни. С окраины – той, которая обращена к реке, – долетает шум боя.

– Где Индурайн?

– Вон, у машины.

Долговязый усатый тип без кителя, с пистолетом на боку, в высоких сапогах, очевидно, пытается навести здесь мало-мальский порядок и зычно отдает распоряжения. Горгель идет к нему, но дорогу заступает европейского вида офицер. На голове у него мавританская феска с двумя лейтенантскими звездочками.

– Чего тебе?

– Я пришел с берега... Мне приказали доложить командиру...

– Мне докладывай.

Хинес Горгель рассказывает обо всем, что было, не умолчав и про свои гранаты. В подробности особенно не вдается, чтобы не вызвать нареканий. Офицер смотрит на него сверху вниз:

– Винтовка твоя где?

– Потерял в бою.

– А часть?

– Не знаю.

Взгляд лейтенанта выражает усталый скепсис.

– В бою, говоришь?

– Так точно.

Офицер показывает на две шеренги мавров и европейцев:

– Вставай в строй.

– Но моя рота...

– Роты твоей нету больше. Давай шевелись. Я – лейтенант Варела, поступаешь в мое распоряжение.

– У меня оружия нет, господин лейтенант.

– Как свое бросил, так и чужое подберешь.

– Я...

Он хочет промямлить какую-то не имеющую отношения к делу чушь вроде «я плотник, господин лейтенант», но тот подталкивает его к строю. Горгель в полной растерянности повинуется. В шеренге больше всех мавров, но попадаются и европейцы из других подразделений. Всего тут человек тридцать, обмундированных кто во что горазд – стальные каски, пилотки с кисточками, тюрбаны, бурнусы, френчи разных родов войск. Оружие есть не у всех.

– Вставай в строй, кому сказано?!

– Но я...

Следует новый толчок.

– Стать в строй, я сказал!

В свете фар видны спокойные лица мавров, с природным фатализмом принимающих все, что пошлет им сегодня ночью судьба. Испанцы – остатки Монтеррейского батальона, а также крестьяне, конторщики и даже оркестранты – то ли волнуются больше, то ли просто не умеют скрывать свои чувства.

– Равняйся... Смирно!

Сержант-испанец, со зверским выражением лица, которое от игры света и тени кажется еще более свирепым, проходит вдоль строя, раздавая боеприпасы. Горгелю, занявшему свое место в шеренге между двух мавров, он вручает гранату и шесть обойм по пяти патронов в каждой.

– У меня нет винтовки...

– Достанешь.

Мавры с обоих боков косятся на него с любопытством. В полутьме поблескивают глаза на заросших щетиной оливково-смуглых лицах – под тюрбаном у одного, под фетровой феской у другого. Оба с безразличным видом опираются на стволы своих маузеров.

– Плохой солдат, – говорит один насмешливо. – Без ружья много не навоюешь.

– Да пошло бы оно все... – злобно огрызается Горгель.

Мавры смеются, словно он удачно сострил, а Горгель, смирившись с неизбежностью, цепляет гранату к поясу, прячет обоймы в патронташ на груди. Потом с суеверным ужасом смотрит на раненых, которые по одному тянутся в церковь. По большей части это старики, потому что люди боеспособные давно уж воюют в армии Франко, либо ушли к красным, либо сидят в тюрьме, либо лежат в сырой земле.

– Нале-во! Шагом марш.

По команде лейтенанта Варелы, не удостоившего их объяснениями и ставшего впереди строя, они трогаются с места. И покуда под зорким оком сержанта, который следит, чтоб никто не отстал, отряд переходит из света во тьму, Горгель с тревогой убеждается, что они идут туда, откуда он недавно прибежал.

Высунув головы над краем маленькой ложины рядом с разрушенным пулеметным гнездом, Хулиан Панисо и пятеро других подрывников смотрят, как идет атака на восточной оконечности. Вероятно, к тем, кто был там раньше, присоединились и фашисты, выбитые с позиций ниже, потому что сопротивляются они ожесточенно. Ни артиллерии, ни минометов – слышен только ружейный огонь. Темная громада откоса испещрена вспышками выстрелов, по которым можно судить, как идут дела: республиканцы пытаются подняться, франкисты стараются им это не позволить.

Линия огня, еще недавно ползшая вверх, сейчас замерла примерно на трети склона.

– Кажется, фашисты цепко держатся, – замечает Ольмос.

– Так Четвертый батальон атакует, – пренебрежительно бросает Панисо.

И больше ничего не добавляет, но всем и так все понятно. В отличие от других подразделений IX бригады, укомплектованных по большей части хорошо обученными и спаянными железной партийной дисциплиной бойцами, 4-й батальон набран, что называется, с бору по

сосенке, в нем всякой твари по паре – тут и анархисты, и троцкисты, выжившие в чистках ПОУМ⁵, и перебежчики, и штрафники, и рекруты последнего набора, спешно призванные, чтобы пополнить страшную убыль в батальоне, который понес огромные потери в апрельских боях за Лериду. Панисо знаком с политкомиссаром батальона – Перико Кабрерой, тоже родом из Мурсии. И от его рассказов волосы встают дыбом. Дисциплина не то что хромает, а просто отсутствует. Боевой дух – ниже некуда. Много мутных, неясных и опасных людей, а есть и явные, пусть и перекрасившиеся, фашисты, проникшие в НКТ⁶, чтобы заполучить членский билет и спасти свою шкуру, благо не так давно в профсоюз принимали всех встречных-поперечных. Ну и как следствие – в одном только прошлом месяце двоих расстреляли за неповиновение приказу, троих – за дезертирство. Однако же кому-то надо штурмовать восточный склон, вот 4-й по мере сил и делает что может. Или что ему дают сделать.

– Надо бы наших поискать, – говорит Ольмос.

Да, конечно. Шестерым подрывникам приказано по выполнении задания соединиться со своей саперной ротой 1-го батальона, который должен взять Кастельетс. Если не сильно отклонились, сообщает Панисо, городок должен быть километрах в двух впереди и справа, за сосновой рощей. Пальба там идет беспрестанная, так что сориентироваться нетрудно.

– Пить хочу – помираю, – говорит кто-то.

Все хотят. Вышли налегке и даже фляги не взяли, чтоб не звякнули ненароком. Теперь жалеют, но ничего не поделаешь, пока не отыщут воду или не выйдут к своим. Найденные в пулеметном гнезде четыре фляги повреждены взрывом – воды там осталось по глоточку на каждого.

– Хватит ныть. – Панисо снимает с плеча автомат. – Пошли.

Пригнувшись, положив палец на спусковой крючок, шестеро идут – сперва по лощинке, потом, со всеми предосторожностями, под черными силуэтами сосен. Альпаргаты ступают почти бесшумно, синие комбинезоны не выделяются в темноте.

Задувает легкий ветерок, принося издали запах пороха, который перемешивается с запахом смолы. Приплюснутые верхушки сосен закрывают звездное небо.

Первым услышал голос Ольмос. Он трогает Панисо за плечо, и оба замирают, пригнувшись так, что почти присаживаются на корточки. Всматриваются во тьму.

– Слышишь? – шепчет Ольмос.

Панисо кивает. Голос – слабый и страдальческий – звучит шагах в десяти-двенадцати, слова перемежаются стонами. «Мама... – слышится время от времени. – Мама... О господи боже... Господи... Мама...»

– Раненый фашист наверняка, – говорит Ольмос.

Панисо проводит ладонью по лицу:

– Как догадался, что это фашист?

– Да ну, не знаю... Зовет Господа и маму.

– А кого ему, по-твоему, звать? Пассионарию?⁷

Мгновение они стоят молча и неподвижно. Прислушиваются.

– Надо подойти да глянуть, – говорит Ольмос.

– Зачем?

– Убедиться, что это фашист.

– Ну убедишься. Дальше что?

– Да ничего. Добьем и дальше пойдём. И может, у него фляга есть.

⁵ *ПОУМ* (Partido Obrero de Unificación Marxista) – Рабочая партия партийного единства, левая партия, занимавшая антисталинистские позиции.

⁶ *НКТ* (Confederación Nacional del Trabajo) – Национальная конфедерация труда, испанская конфедерация анархо-синдикалистских профсоюзов, в начале войны вошедшая в единый антифашистский республиканский лагерь.

⁷ *Пассионария* (пламенная) – прозвище Долорес Ибаррури (1895–1989), виднейшей деятельницы Компартии Испании.

– А может, и граната.

Ольмос задумывается, меж тем как вокруг него стоят в ожидании четыре темные фигуры.

– Ну так что решим? – говорит кто-то.

– Я фашистов убиваю в бою, – отвечает Панисо. – А на то, чтоб раненых добивать, имеется эта мразь из второго эшелона. Ополченцы, которые сражаются за Республику в борделях и в кафе.

– Ладно-ладно, можешь не продолжать, – говорит Ольмос. – Сообщение принято.

Панисо медленно выпрямляется:

– Пошли дальше. Поищем этот городок, будь он неладен.

Шестеро продолжают путь, удаляясь от того места, где все слабее слышится, а потом и вовсе замирает голос. Панисо идет впереди, держа наготове автомат и вглядываясь во тьму.

– Самое гнусное на такой войне, – говорит у него за спиной Ольмос, – что враг зовет мать на родном тебе языке... Отбивает всякую охоту драться.

В 04:37, часа за два до рассвета и накануне своего двадцатилетия, Сантьяго Пардейро Тохо получает приказ направить подразделение, которым командует, – 3-ю роту XIX батальона Легиона – к Кастельетсу и занять оборону вдоль шоссе, пересекающего городок. Стараясь унять дрожь, он велит своему ординарцу – бывшему сеговийскому футболисту по имени Санчидриан – положить в ранец «Полевой устав пехоты», плитку шоколада «Каноник» и бутылку коньяка «Три лозы».

– Турута!

– Я, господин младший лейтенант.

– Сигнал к построению. Мы выходим.

– Уже?

– Да, черт возьми.

Покуда горнист трубит сбор, солдаты разбирают палатки, гасят костры, строятся в шеренги. Пулеметчики взваливают на плечи свое оружие и ящики с патронами. Никакой суеты и сутолоки – это бойцы ударной части, всегда готовые ко всяким неожиданностям.

Пардейро поднимает воротник кожаной тужурки – трофей, доставшийся от красного комиссара на мосту через Балагер, – где слева на груди пришита черная плашка с шестиконечной звездочкой, обозначающей его звание. Холодно. Вокруг, в темноте, под черным, густо усыпанным звездами небом звучат резкие команды.

До сих пор 3-я рота численностью 149 легионеров стояла в резерве в оливковой роще у безлюдного местечка под названием Апаресида. Выполняя приказ и понятия не имея о том, каково общее положение дел, младший лейтенант, встревоженный отдаленным шумом боя, поднимает свою роту «в ружье» и ведет ее к Кастельетсу, до которого не более километра. Но по дороге их догоняет связной майора Индурайна, отвечающего за оборону городка: майор просит перебросить подкрепления к восточной высоте, ее сейчас атакуют красные.

– Большими силами?

– По всему судя, большими, господин младший лейтенант, – говорит связной. – *Регуларес* и остатки Монтеррейского батальона, прибежавшие туда, еле держатся. Дела там, кажется, хреновые.

– Ладно... Передай майору – pošлю туда людей, хоть у самого мало.

Пардейро, стараясь не слишком ослаблять свою роту, выделяет один взвод и под командой сержанта посылает его направо – к восточному склону. А с остальными ста двадцатью девятью идет дальше.

– Владимир!

– Я!

Из темноты выдвигается и останавливается перед ним сержант Владимир Корчагин – шестнадцать лет службы в Легионе, три креста «За военные заслуги» и медаль, четыре нашивки за ранения на рукаве.

– Пошли-ка несколько человек на разведку... Пусть посмотрят, что там впереди. Не хотелось бы в темноте нарваться на красных.

– Слушаюсь. Мне – с ними?

– Нет. Ты останешься, держись в пределах голосовой связи. Капрала с ними отправь, какого-нибудь толкового.

– Лонжина?

– Годится. Скажи ему, чтобы держался Полярной звезды, ее хорошо видно меж оливковыми деревьями. Она должна быть постоянно на одиннадцать часов.

– Слушаюсь.

Минуту спустя пять темных фигур бесшумно проскальзывают мимо и уходят вперед. Вслед за ними, во главе своей роты идет и Сантьяго Пардейро, погруженный в расчеты, предположения и предчувствия. Младший лейтенант не знает, что именно происходит и что он обнаружит, войдя в городок. Как бы то ни было, он отвечает теперь за все, и ответственность эта велика – еще год назад учился на судостроительном факультете в Ферроле, а теперь командует целой ротой, поскольку все остальные офицеры выбыли из строя: капитан ранен, оба лейтенанта убиты в бою на реке Синке. А весь его XIX батальон – еще три роты и штаб – стоит лагерем вдоль шоссе – его отвели на отдых и переформирование: после огромных потерь конца мая надо пополнить убыль в людях. Этот сектор считается тылом – там спокойно.

Слышен пронзительный свист. Это явный сигнал. Пардейро приказывает своим остановиться, делает несколько шагов вперед. И видит пять бесформенных теней – каждая падает из-за ствола оливы, каждая продолжена длинной и еще более черной тенью винтовки.

– В чем дело?

– Городок, – отвечает легионер.

Молодой офицер подходит ближе, осторожно оглядывает местность: в нескольких шагах темнеют дома – в Кастельетсе их около трехсот, сложенных из камня и кирпича и крытых черепицей. Справа вдалеке возносится темная громада восточного склона, мерцающая бесчисленными огоньками выстрелов. Взвод подкрепления, наверно, уже там.

Полминуты Пардейро рассматривает высоту в свой цейссовский бинокль, но не видит ничего особенного – продолжается бой. Потом переводит взгляд на западный склон, где вроде бы все тихо: никакой активности не наблюдается. Шум боя доносится откуда-то издали. Наверно, с кладбища. А это значит, что красные еще не овладели городком, если предположить, что имелось у них такое намерение.

– Капрал!

– Слушаю, господин младший лейтенант.

Сильный андалузский акцент. Капрал Лонжин родом из Малаги и настоящее его имя – Руйперес, но до того, как судья предложил ему выбрать между Легионом и тюрьмой в Пуэрто-де-Санта-Мария, он был вором-карманником и предпочитал эту марку часов, чем и заслужил себе такое прозвище. В свое время он успел немного пофлиртовать и с Федерацией анархистов. Но вот уже два года несет беспорочную службу. Расстегнутая до пупа форменная рубашка открывает татуированную грудь, густые бакенбарды доходят до углов рта. Классический легионер. Хлеб и знамя даже отпетого жулика могут превратить в нечто приличное⁸. Иногда.

– Пройди-ка в городок и предупреди, что мы идем... Чтоб не вздумали встретить нас огнем.

– Да, такая хренотень совсем ни к чему. Неприятно будет, если они так обесрутся.

⁸ Немного перефразированный тезис фалангистской пропаганды.

Растянувшись цепочкой и держась не вплотную друг к другу – мало ли что? – пять силуэтов быстро направляются к городку и вскоре исчезают из виду.

Выждав немного и мысленно досчитав до ста, Пардейро поворачивается к оливковой роще:

– Владимир!

– Я.

– Распорядись примкнуть штыки.

Пардейро за пять месяцев службы затвердил назубок непреложное армейское правило – лучше перебдеть, чем недобдеть. На мгновение он вспоминает родителей и свою «военную крестную» – хорошенькую сеньориту из Бургоса, которая пишет ему еженедельно: он никогда в жизни не видел ее, но фотокарточку носит в бумажнике. Но тотчас забывает о ней и под клацанье примыкаемых штыков достает из кобуры длинноствольную «Астру-9», досылает патрон, сдвигает флажок предохранителя, делает шесть глубоких вдохов и в пяти метрах перед своей ротой входит в Кастельетс, сверля глазами темноту.

На войне, видя, как кругом гибнут люди, он приучился больше доверять своим глазам, нежели рассудку.

В это самое время на другом краю городка наспех сколоченное подразделение, где оказался и Хинес Горгель, не успев развернуться в боевой порядок, сталкивается с противником. По словам тех, кто в курсе дела, лейтенант Варела получил приказ растянуть своих солдат как можно шире по фронту, чтобы создать видимость многочисленности, и отбиваться, пока не начнется общая контратака. Однако едва лишь они походной колонной добежали от реки до предместий Кастельетса, как наткнулись на густой ружейный и пулеметный огонь.

Горгель, оцепенев, видит, как впереди ночная тьма озаряется вереницей вспышек, оглашается грохотом взрывов. Он все еще не обзавелся винтовкой, да и не знает, что бы стал с ней делать. Рвутся гранаты, и это значит, что красные ближе, чем предполагалось, в нескольких метрах. Пули свистят мимо, звонко щелкают по камням и деревьям, зловеще чавкают, попадая в цель, и люди с криком разбегаются, сломав строй.

– Получайте, гады! Сволочь фашистская! – доносятся крики.

Пригнувшись, Горгель пытается где-нибудь спрятаться и, не найдя убежища, бросается на землю. И видит, как разрыв гранаты с неистовой силой швыряет назад тело лейтенанта Варелы.

Пум-ба, пум-ба.

Гранаты по-прежнему сыплются градом. Лишь немногие в его роте отвечают на огонь красных: одни в ужасе припадают к земле, другие убегают врассыпную. Повсюду слышны крики боли и отчаяния, раненые воют так, словно им вырвали нутро.

В воздухе басовито гудят пули, но Горгель не обманывается насчет того, что, растянувшись плашмя, будет в безопасности. Страх, который иногда вгоняет человека в столбняк, сейчас удивительно обостряет его сообразительность. Если остаться здесь, пули, высекающие искры из камней, в конце концов отыщут и его. И потому он медленно, ползком, стараясь как можно плотнее прижиматься к земле, пятится.

Вжик. Вжик.

Чмок.

Горгелю, на миг подавшемуся панике, кажется, что этот звук издала пуля, угодившая в него. Но нет. Вскрик – и темная фигура, пробежавшая совсем рядом, обрушивается прямо на него всей своей бессильной, безжизненной тяжестью: он бесцеремонно отпихивает тело в сторону, а оно, прежде чем откатиться, заликает его чем-то теплым и липким.

Ружейной пальбе вторит страшная брань.

Горгель проползает еще довольно далеко, а потом, решив, что стрельба за спиной стихает, поднимается и, задыхаясь, втянув голову в плечи, мчится в темноте к домикам на окраине. Локти и колени у него ободраны, а в груди печет так, словно горящих углей наглотался.

Больше под огонь не полезу, не выдержу, клянется он сам себе. Пусть хоть расстреливают.

Огонь со склона холма, ведущего на кладбище, слабеет, но вцепившиеся в землю франкисты все еще сопротивляются.

Пато Монсон видит, что после двух атак республиканцы сумели пока взять только восточную часть стены и треть участка. Бой идет на ограниченном пространстве, противники рушат каменные плиты, разрывают могилы, прыгают туда, как в окопы. Запах разворошенной земли и сгоревшего пороха смешивается с трупным смрадом. Вспышки разрывов высвечивают выщербленные пулями кресты, разбитый мрамор, осколки гранита, разлетающиеся во все стороны, секущие прямые, как мечи, темные ветви кипарисов. И в грязно-сером свете зари, нерешительно разливающейся на востоке, картина предстает все более отчетливой – и зловещей.

Пато скорчилась за мешками с землей, образующими бруствер у ворот кладбища. Кованая решетка, наполовину слетевшая с петель, отзывается металлическим звоном на каждую пулю.

За бруствером – четверо живых и двое убитых.

Живы куда майор Фахардо, командир 2-го батальона, еще один офицер и двое посыльных. Убитые – это франкисты, державшие здесь оборону и погибшие при первом натиске. Трупы оттащили в угол, чтобы не спотыкаться, и Пато, впервые в жизни видя убитых в бою, не в силах отвести от них глаз, тем более что становится все светлее: лучи скользят по мешкам с землей и четко обрисовывают очертания тел.

Оба франкиста разуты, карманы у них вывернуты. Один лежит ничком, другой – на спине: волосы взлохмачены, лицо в полутьме кажется совсем юным, а сам он – безмерно одиноким. С неожиданной жалостью Пато – она всегда совсем по-другому представляла себе франкистов – думает, что сейчас в каком-то далеком краю его мать, или сестра, или невеста просыпаются с мыслью о нем, не зная, что его уже нет на свете. И может быть, среди разбросанных на земле документов, открытого бумажника, четок – всего, что не пригодилось тем, кто обшаривал его, – есть и письмо, полученное или написанное за несколько часов до гибели: «Мой любимый, как я тоскую по тебе... Дорогие папа и мама, я здоров, нахожусь далеко от фронта...»

Эти мысли заставляют ее вспомнить о собственных письмах. И перед глазами возникают родные лица – отец, мать, двенадцатилетний братишка, губы, глаза, руки того, кого она, кажется, любит и чью фотографию, лежащую у нее в бумажнике, не разорвала перед переправой. Вот уже пять месяцев о нем нет вестей – с тех пор, как Франко отбил Теруэль, – и с каждым днем блекнет память о таком же неверном рассвете, о последнем объятии, о последнем поцелуе, о прощании на вокзале, где мужчины с винтовками и вещмешками за спиной строились на мокром от дождя перроне, а потом рассаживались по вагонам и пели, отгоняя страх:

А захочешь написать мне,
Ты мой знаешь адресок...

Не время сейчас для этих воспоминаний, думает она. Ни к чему они, а кроме того, как ни крути, двое убитых, что лежат в четырех шагах от нее, суть – ну ладно, были – враги Республики. По своей ли охоте они пришли сюда или поневоле, сочувствовали фашистам или их загребли силой – все равно, объективно стали орудиями в руках мятежных генералов, банкиров и попов, всех тех, кто бомбил Мадрид и Барселону, всех дружков Гитлера и Муссолини,

всех врагов пролетариата, всех барчуков из Фаланги и монархистов-рекетё⁹, после исповеди и причастия расстреливающих ни в чем не повинных жителей городов и сел; всех иностранных наемников Кейпо де Льяно¹⁰ и ему подобных, после которых в Андалусии, Эстремадуре и Кастилии не остается никого, кроме древних старцев, осиротевших детей и женщин в трауре; всех, кто наподобие этого Хиля-Роблеса¹¹ твердит, что для оздоровления отчизны следует истребить триста тысяч испанцев.

Негодяи, которые провозглашают это, сами подлежат уничтожению – все до единого. Так думает Пато. Море крови против моря крови. Каждому приходит его черед. А для этих несчастных, валяющихся в траншее, – виноваты они или нет – час уже пробил. Чтобы не думать о них, Пато старается отвлечься мыслями о том, как идет бой, о своих подругах из взвода связи, о лейтенанте Эрминьо-Харпо, ожидающих ее возвращения. И о приказе, который майор Фахардо – совсем еще недавно она видела его могучую фигуру, слышала хриплый резкий голос – отдал какому-то офицеру, а потом с силой хлопнул по спине, и тот соскочил с бруствера и, пригибаясь, побежал к воротам кладбища.

– Постарайтесь поднажать еще немного, – сказал ему Фахардо. – Сделайте последнее усилие.

Внезапно откуда-то сзади один за другим гремят три выстрела из минометов небольшого калибра. Миг спустя Пато слышит, как мины ложатся на другом краю кладбища. Рвутся с дребезжащим звуком – будто кто-то шваркнул об пол целую стопку тарелок.

– Молодцы, – восклицает майор.

Добрый знак, понимает Пато. Когда рассветет окончательно, минометы вступят в бой и поведут прицельную стрельбу. Кроме того, неподалеку слышится тарактение русских пулеметов «максим» – их ни с чем не спутаешь. Все это наглядно показывает, что саперы наводят первые переправы, тяжелое оружие скоро появится на другом берегу и, стало быть, атакующие получат огневую поддержку.

Тумп, тумп, тумп. Трижды гремят минометы – где-то далеко позади, – а вслед за тем через двадцать секунд с визгом разрываются три мины.

– Слишком близко кладут, – бросает майор.

И с озабоченным видом оборачивается к одному из посыльных – молоденькому, на вид лет шестнадцати, пареньку:

– Спустись к реке и передай минометчикам – пусть повысят прицел, а иначе в конце концов засадят своими огурцами наши грядки. Мы почти вплотную к фашистам, так что пусть уж будут так любезны не накрыть нас.

– Понял.

– И скажи, чтоб перенесли огонь в створ между западным склоном, кладбищем и городком. Тогда франкисты не смогут перебросить подкрепления и должны будут откатиться. Все ясно, мой птенчик?

– Как божий день.

– Тогда – ноги в руки и дуй.

Пато подходит ближе, опирается о мешки с землей, и командир оборачивается к ней. Рассеянный свет зари ложится на его грубоватое крестьянское лицо с густыми бровями под

⁹ *Рекетё* (исп. *requeté* – предположительно, подражание звуку трубы, «ре-ке-те»), или Красные Береты, – военизированная молодежная монархическая организация, самые боеспособные части в войсках генерала Франко.

¹⁰ *Гонсало Кейпо де Льяно и Сьерра* (1875–1951) – генерал-лейтенант, один из руководителей восстания 1936 года и виднейший участник гражданской войны в Испании. Считается, что именно Кейпо де Льяно отдал приказ об убийстве поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки.

¹¹ *Хиль-Роблес Хосе Мария* (1898–1980) – испанский политический деятель, министр обороны, с оговорками поддерживавший Франко.

козырьком приплюснутой фуражки с широкими галунами по обе стороны красной звездочки. На вид майору лет сорок.

– Женщине тут не место, – мрачно произносит он.

– Да тут никому не место, – отвечает она.

Фахардо, молча смерив ее взглядом с головы до ног, снова начинает наблюдать за входом на кладбище.

– Мне приказано выйти на связь и сообщить, когда будет взята позиция.

Майор пожимает плечами:

– Они долго не продержатся... Огонь слабеет, сама видишь. Сопротивляются остатки тех, кого мы рассеяли. Их мало. Так что можешь отправляться и доложить, что тут, по крайней мере на моем участке, дело сделано. Через час или даже раньше все будет кончено.

– Хочу убедиться сама.

От грохота выстрелов железная решетка подрагивает, как от колокольного звона. Пато инстинктивно пригибается, а майор, опираясь на бруствер, стоит невозмутимо и смотрит туда, где на кладбище разгорается стрельба.

– Это капитан Санчес из 3-й роты, – повеселев, говорит он. – Слышишь? Славный малый.

Потом смотрит на Пато с любопытством:

– А в вашем подразделении еще женщины есть?

– Только они и есть. Командир взвода – не в счет.

– И все такие же красотки, как ты?

Слышится неприятный хохот второго посыльного: этот тощий парень, с гноящимися глазами, в стальной каске на голове, с винтовкой между колен, даже на минутку перестал грызть ногти, чтобы посмеяться всласть. Пато не обращает на него внимания и не мигая смотрит прямо в лицо майору:

– Все.

На лице Фахардо появляется улыбка – но не сразу, а после того, как он окинул взглядом пистолет у нее на боку. Улыбка примирительная и даже как будто извиняющаяся; а может быть, и не «как будто».

– Ну, товарищ, для такого дела женщине нужно мужество. Что же – протянете связь сюда?

– Да, так задумано. Постараюсь.

Лицо майора светлеет.

– Нет, серьезно? Поставите мне здесь полевой телефон?

– Ну да. За этим меня сюда и прислали.

Майор удовлетворенно кивает:

– Отлично, если будет связь, потому что мы держим ключевую позицию. Отобьем кладбище – сможем атаковать западный склон и защитить подходы к реке. У меня приказ – держаться здесь и на склоне, если возьмем его, конечно. Прикрывать правый фланг перед мостом. Так что...

Чередой взрывов на кладбище прерывает его, вслед за этим начинается ожесточенная ружейная трескотня и слышатся крики штурмующих.

– Это Санчес! – внезапно оживляется майор. – Слава его стальным яйцам!

И шелкает пальцами по каске связного, отчего тот вскакивает на ноги.

– Давай-ка туда и передай, чтоб напор не ослабляли и перли вперед: мы скоро подоспеем на помощь. Мухой!

Связной, застегнув подбородочный ремень, вешает на плечо винтовку, перелезает за бруствер и, пригибаясь, бежит в сторону кладбища.

У самых ворот его срезает выстрел.

Связной мешком оседает наземь и замирает. Пато смотрит на это в изумлении. Не веря тому, что видит. Впервые у нее на глазах убивают человека. Это совсем не то, что показывают

в кино. Там люди театрально вскрикивают, хватаются за грудь. А связной просто сник и растянулся на земле, словно вдруг лишился чувств.

В смятении она поворачивается к майору – убедиться, что он также ошеломлен увиденным. Но тот, забористо выругавшись, уже не обращает на убитого никакого внимания. Достает из кобуры пистолет, из кармана френча – свисток, подносит его к губам, трижды протяжно свистит, а потом вскакивает на бруствер и бежит к воротам.

– Вперед, мать вашу, вперед! – кричит он. – Не давай им уйти! Да здравствует Республика!

В ответ на его призыв в белесоватом свете зари, обозначившем кладбищенскую ограду, несколько десятков человек, прежде где-то прятавшихся от осколков и пуль или распластанных на земле, – Пато кажется, что она узнает в них рабочих, крестьян, ремесленников, мелких служащих – поднимаются и бегут за своим командиром.

Когда Сантьяго Пардейро и его легионеры оказываются в центре Кастельетса, в городке уже царит полный хаос.

Сопrotивление националистов сломлено.

В свете зари, уже обозначившей очертания домов, можно увидеть перепуганных жителей и бегущих солдат, раненых, ковыляющих с помощью товарищей или в одиночку, офицеров и сержантов, срывающих с себя знаки различия, френчи, ремни амуниции. Мавры вперемежку с европейцами несутся нестройной беспорядочной толпой. Многие уже бросили оружие.

За домами, в той части городка, что обращена к реке, еще слышатся стрельба и разрывы гранат. Красные уже овладели окраинными кварталами и планомерно зачищают дом за домом. С кладбища доносятся порой разрозненные выстрелы.

– Где майор Индурайн? – спрашивает прапорщик у людей, которые в панике бегут мимо.

– Не знаю.

Новая попытка:

– Майора Индурайна не видали?

– Вон там, у церкви.

И наконец он замечает майора: тот стоит у подножия колокольни с пистолетом в руке, с дымящейся сигаретой во рту. Голова обвязана какой-то тряпкой, из-под которой сочится кровь, уже залившая ему левый ус, половину лица, шею и рубашку. Рядом с ним – человек двадцать солдат, сохранивших оружие и послушных дисциплине. На легионеров они смотрят с удивлением – явно не ожидали их появления тут.

Пардейро вытягивается, как на плацу. И со строевой щеголеватой отчетливостью вскидывает руку к пилотке, сдвинутой на правую бровь.

– Прибыл в ваше распоряжение, господин майор.

Под глазами у майора от бессонницы темные круги. Веки воспалены от сигаретного дыма. На усталом лице борются недоверие и облегчение.

– Сколько у вас людей?

– Сто двадцать девять человек. Один взвод, согласно вашему распоряжению, оставлен у восточного склона.

Индурайн с любопытством обводит его критическим взглядом, задерживаясь на кожаной комиссарской тужурке со знаками различия «младшего лейтенанта военного времени».

– Вы – командир роты?

– С боев за Синку.

– Вы были там?

– Так точно, господин майор... Я единственный из офицеров остался тогда в живых.

Индурайн кивает как будто рассеянно – внимание его обращено на нескольких солдат, только что прибежавших сюда с другого конца города вместе с женщинами и детьми. Они

при оружии, но мчатся вразброд. Отвернувшись от легионеров, майор пропускает мимо себя мирных жителей и загораживает дорогу бегущим.

– Далеко собрались?

Солдаты – пятеро мавров и три европейца, – пребывая в полнейшей растерянности, мнутя, мычат невразумительно. Старший над ними – сержант – тычет пальцем куда-то себе за спину:

– Красные по пятам идут.

– Без тебя знаю, кто там идет. Я спрашиваю, вы куда направляетесь?

Сержант не отвечает. У него небритое, осунувшееся от страха и смятения лицо. Индурайн поднимает пистолет, направляет ствол ему в грудь.

– Кто шаг сделает, – произносит он очень отчетливо и очень твердо, – вы**у и высушу.

Беглецы колеблются, не зная, послушаться ли или кинуться прочь. Конец их сомнениям кладут подчиненные майора, которые окружают их и вскидывают винтовки.

– Это слишком уж, – говорит один из мавров, порываясь уйти.

Без лишних слов майор сует сигарету в рот и освободившейся рукой отвешивает мавру хлесткую оплеуху, от которой у него едва не разматывается тюрбан. Мавр принимает ее покорно. Средство убеждения подействовало.

– Родригес! – зовет майор.

Человек с сержантскими нашивками на рукавах хмуро выходит вперед, поглаживая указательным пальцем скобу спускового крючка.

– Я.

– Внеси-ка этих в списки. За неповиновение – расстрел на месте.

– Есть.

Беглецы понуро повинуются. Майор поворачивается к Пардейро:

– А у вас как с боевым духом?

В вопросе звучит сомнение, заставляющее младшего лейтенанта оскорбленно заморгать:

– Мы же легионеры, господин майор!

То есть как же можно сомневаться в том, что боевой дух высок. Майор отвечает с усталой улыбкой:

– Виноват.

Со стороны восточного склона прокатывается грохот сильного взрыва, и все взгляды поверх крыш устремляются туда.

– Вас мне сам бог послал, – говорит Индурайн. – Как зовут?

– Пардейро.

– Ну так вот, младший лейтенант Пардейро, как сами можете видеть – роты Монтеррейского батальона больше не существует, а XIV табор удирает в полном беспорядке.

– Какие будут распоряжения?

Майор на миг задумывается, оглядываясь по сторонам. Потом высасывает последний дымок из окурка, зажатого в окровавленных пальцах, и роняет его на землю.

– Оседлайте главную улицу – это продолжение магистрали, идущей через весь город. Держите церковь у себя в тылу. Пулеметы есть?

– Есть два «гочкиса» и девять тысяч патронов к ним и два автомата «бергманн».

– Поставьте один пулеметик наверху, чтобы держать под огнем улицу и площадь. И – ни шагу назад.

Пардейро с усилием глотает слюну, стараясь, чтобы это вышло незаметно. Майор не назвал крайний срок.

– А сколько держаться, господин майор?

– Полагаю, рано или поздно нам придут на помощь, – пожимает плечами тот.

– Полагаете?

В ответ – бледная улыбка.

– Да, именно так я и сказал.

И майор пистолетом показывает на своих солдат:

– Постараюсь как-то уменьшить масштаб катастрофы – соберу всех, кого можно, окопаюсь на восточной высотке и буду держать оборону.

– Ваш командный пункт будет там?

– Да. Связь – через посыльных.

Пардейро наконец задает вопрос, который давно жжет ему язык:

– А если не смогу удержаться?

Майор пристально смотрит на него. Долго и оценивающе.

– Тогда будете драться в самом городке сколько сумеете.

– Что мне предпринять в том случае, если нас обойдут?

Майор продолжает разглядывать его так, словно взвешивает, насколько стоек окажется этот юный офицерик. И наконец наметанный глаз профессионала подсказывает благоприятный вывод.

– А в этом случае с теми, кто останется в живых, отойдите в какую-нибудь балочку, овражек или к скиту Апаресида... Держитесь сколько сможете, не давайте себя окружить.

Пардейро, скрывая неловкость, откашливается:

– Могу я получить письменный приказ, господин майор?

– Конечно.

Индурайн тотчас достает из брючного кармана полевую книжку и огрызок карандаша, царапает на листке каракули, вырывает его и протягивает Пардейро.

– Желаю удачи.

– А я – вам, господин майор.

Индурайн уводит своих людей, беглецы больше не появляются, и от той части городка, которая обращена к реке, наползает угрожающая тишина. В свинцовом свете зари, придающем зданиям зловещий вид, становятся видны разбросанные повсюду винтовки, мавританские бурнусы, патронташи, ранцы, документы. При мысли о том, что в эту самую минуту к ним, прижимаясь к стенам домов, осторожно подступают красные, Пардейро пробивает озноб. И одновременно охватывает стремление действовать немедленно, безотлагательно.

– Сержант!

Перед ним вытягивается русский ветеран Владимир – пилотка на очень коротко остриженной голове, широкие скулы, славянские глаза, прорезанные чуть вкось.

– Один пулемет – на колокольню, второй оставь внизу, пусть прикрывает площадь. Людям повзводно занять оборону вдоль вон той широкой улицы – она послужит гласисом. Автоматчиков – в окна, для поддержки. Пусть кажется, что нас больше, чем на самом деле. Ясно?

– Так точно.

– И поживей, потому что красные вот-вот будут здесь. Ах да, вот еще что... Передай – того, кто вздумает драпануть, я своей рукой пристрелю.

Повернувшись к церкви, Пардейро замечает на ступенях паперти мальчика. В набирающем силу утреннем свете видно, что он хрупок и тщедушен, с худым личиком и наголо обритой головой. Одет в изношенный шерстяной свитер. Короткие штаны не скрывают длинных, тонких, грязных ног.

– Ты что тут делаешь, малыш?

Мальчик, не отвечая, с очень серьезным видом поднимается на ноги. Страх не выказывает. Он восхищенно разглядывает легионеров и с завистью любуется их оружием.

– Ты здешний?

Тот кивает в ответ. Лейтенант уже собирается сказать ему, чтобы бежал отсюда поскорее, но тут ему в голову приходит новая мысль:

– Как тебя зовут?

Мальчик спокойно и сосредоточенно разглядывает его и лишь потом произносит:

– Тонэт.

– А дальше?

– Саумелль.

– А лет тебе сколько?

– Двенадцать, господин капитан.

– Я не капитан, а младший лейтенант, – говорит Пардейро. – Знаешь этот квартал?

– Конечно. Я весь город знаю.

– А где родители твои?

– Нет у меня родителей. Живу с бабкой и дедом.

– Куда же они ушли?

Мальчик показывает в ту сторону, где только что скрылись из виду беженцы:

– Думаю, куда-то туда.

Пардейро достает из кармана плитку шоколада в серебряной фольге, протягивает мальчику:

– Поможешь нам?

Тот принимает шоколадку, как бесценный дар, взвешивает ее на ладони. Потом, не разжимая губ, кивает.

– Бегаешь быстро, Тонэт?

Новый кивок.

– Сможешь доставлять донесения?

Тонэт – он уже засунул четверть плитки в рот – опять отвечает утвердительно.

– Надо, чтобы ты пошел с моими людьми, – объясняет Пардейро. – И показал им, где на этой стороне улицы самые лучшие места. И еще – как незаметно перебираться из дома в дом. Встретишь кого из здешних – скажешь, чтоб поскорее уносили отсюда ноги. Здесь скоро будет очень жарко.

Тонэт пожимает плечами:

– Многие не хотят бросать свои дома.

– Тогда пусть прячутся в подвалы. – Пардейро оборачивается к солдатам. – Капрал Лонжин!

Легионер – густейшие бакенбарды, расстегнутая на груди рубашка – делает шаг вперед, четко пристукнув о землю прикладом маузера:

– По вашему приказанию...

Пардейро показывает ему на мальчика, невозмутимо жующего шоколад:

– Займись-ка вот этим новобранцем. Зовут его Тонэт, он будет нашим разведчиком.

– Не маловат ли он для таких дел? Но – вам решать.

– Скажешь, чтоб дали ему две банки консервов и сухарей.

– Слушаюсь.

Удостоверившись, что «гочкис» уже поставили на колокольне, Пардейро принимается мысленно размечать сектора обстрела, мертвые зоны, укрытия.

Он должен продержаться, пока не пришлют подкрепление. Так сказал ему майор.

Похолодало – или ему это кажется? Рассвет, окутанный саваном тумана, наползает на бурые крыши. Стало тихо. Вздвогнув всем телом, девятнадцатилетний офицер застегивает доверху молнию на куртке и левым локтем ощущает на груди выпуклость бумажника во внутреннем кармане, где лежат недописанное письмо и фотография женщины, которую он никогда не видел воочию.

И спрашивает себя, сколько сможет продержаться. И еще спрашивает себя, увидит ли ее когда-нибудь.

III

– Живей, живей! Шевелись!

Майор-ополченец Эмилио Гамбоа Лагуна – товарищи зовут его Гамбо – стоит на правом берегу Эбро и беспокойно оглядывается по сторонам. Его люди – 437 бойцов – форсируют реку по мосту, который навели понтонеры, и мост этот под напором течения опасно прогибается в середине. Подошвы сапог и альпартат стучат по доскам настила. По этому мосту – зыбкому сооружению в полтора метра шириной, качающемуся на пробковых поплавках и на лодках, – солдаты в полной выкладке должны пробежать гуськом и как можно быстрее.

– Давай! Давай! Живей!

А беспокоят Гамбо две стихии – вода и воздух. В любую минуту франкисты, засевшие выше по реке, могут открыть шлюзы водохранилищ у Мекиненсы, уровень воды в Эбро поднимется и затруднит высадку войск на фронте протяженностью полтораста километров – от Кастельетса до Ампосты.

– Живей! Наддай!

Другая опасность – это авиация, и потому командир 3-го батальона XI сводной бригады поглядывает на небо с еще большей тревогой, чем на реку. Вопреки обещаниям – ибо пропасть отделяет тактические замыслы от практики – ни один республиканский самолет пока еще не появился. Зато два часа назад, едва рассвело, вынырнул из-за туч и покружил над рекой франкистский разведчик – солдаты прозвали его «козликком». Дурной знак.

Поднеся к глазам русский бинокль «Комсомолец 6х30», висящий на груди, Гамбо внимательно вглядывается в ясное небо: солнце уже высоко. Ни облачка, и пока – ни следа самолетов, своих или вражеских.

– Не нравится мне это. Совсем не нравится, – сквозь зубы цедит он самому себе.

Потом снова устремляет взгляд на Кастельетс с двумя высотками по краям. Западная – подальше, за черепичными крышами, над которыми возвышается колокольня и стелется дым, показывая, что в городке идет ожесточенный бой. Восточная, отделенная от берега реки сосновой рощей, расположена ближе, а потому стрельба и разрывы звучат громче. Гамбо видит в бинокль вспышки выстрелов и пыль, взметенную снарядами, а слух его ловит отчетливые звуки – грохот гранат, стук пулеметов, треск винтовок. Впечатление такое, что уцелевшие франкисты после первоначального замешательства опомнились и начали сопротивляться упорно и стойко.

– Пусть в кучу не сбиваются, – приказывает он своему заместителю, капитану Симону Сериготу Гонсалесу. – Когда переберутся на тот берег, залечь повзводно и замаскироваться... Подальше друг от друга, и спрятать или прикрыть все, что блестит.

– Фашистских самолетов нет, – замечает капитан.

– Нет – так будут.

Гамбо, хотя ему всего тридцать лет, опытный вояка, как и большинство его людей: младший из восьмерых детей астурийского каменщика и единственный, кто ходил в школу, он служил «боем» в отеле в Овьедо, в восемнадцать лет вступил в партию, организовал и возглавил Общий профсоюз, дважды сидел в тюрьме, потом сумел бежать в Москву, где работал на Метрострое, одновременно обучаясь в Ленинской школе¹² и в Академии Фрунзе, а по возвращении на родину стал инструктором в антифашистском ополчении, оборонял Гуадарраму летом 36-го и вместе с Энрике Листером¹³ формировал Пятый полк. Короче говоря, человек, не пона-

¹² *Международная ленинская школа* – учебное заведение, основанное в 1925 году в Москве для обучения и «большеви-зации» молодых коммунистов из стран Европы и Америки.

¹³ *Энрике Листер* (1907–1994) – видный деятель испанской компартии, военачальник республиканской армии, основу которой заложил созданный им так называемый Пятый полк.

слышке знакомый и с партийной, и с воинской дисциплиной, благо разница между ними невелика.

– Еле ползут! – обращается он к своему помощнику. – Поторопи, поторопи их, пусть прибавят рыси.

– Мост очень узкий и ходит ходуном, – возражает тот. – Не дай бог, свалится кто-нибудь в воду – да еще с тридцатью килограммами на спине.

– Воды будет еще больше, если франкисты откроют шлюзы или, не дай бог, пришлют авиацию.

– Слушаюсь.

Лысоватый, сухопарый, с шафрановыми глазами и желтыми от никотина зубами капитан, который воюет рядом с Гамбо со дня создания Пятого полка, козырнув, спешит исполнить распоряжение. Майор смотрит ему вслед и одновременно наблюдает за солдатами, стоящими на этом берегу, любуясь их молодцевато-воинственным видом. 3-й батальон, носящий имя Николая Островского, – ударная часть, твердая сердцевина пролетарского авангарда, здесь, на Эбро, он собирается взгреть элегантных кабальеро-аристократов, чопорное офицерье, выпестованное в лучших военных академиях. Батальон Островского большей частью укомплектован рабочими и крестьянами из Эстремадуры, Астурии, Андалусии, Аликанте, Мадрида – настоящими пролетариями, прошедшими до войны тяжелую школу жизни, закаленными в окопах и штурмах. Все они – убежденные до мозга костей коммунисты, всем сердцем поверившие в лозунг Негрина¹⁴: «сопротивляться – значит победить», люди решительные, крепкие, дисциплинированные, беззаветно, до последней капли крови преданные Третьему интернационалу и Сталину. Если не считать недавно присланного пополнения, все прочие отвоевали уже два года, боевое крещение приняли сперва под Мадридом и Талаверой, а потом сражались в Гвадалахаре, Брунете и Теруэле, где батальон покрыл себя славой, обеспечившей Гамбо, тогда еще капитану, майорский чин.

– Почти все уже перешли, – докладывает вернувшийся Серигот. – Остались люди Ортуньо и матчасть, которую доставят на лодках.

– Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы. Удача переменчива.

Люди, состоящие под началом командира 2-й роты лейтенанта ополченцев Феликса Ортуньо Гомеса, – единственные, кто еще не на мосту и не на правом берегу. Гамбо видит, как они выпрыгивают из кузовов грузовиков и бегут к переправе.

– А вот и оружие, – говорит капитан.

И показывает на лодки, груженные тяжелыми пулеметами, минометами и боеприпасами; одни бойцы гребут, а другие держат за узду плывущих рядом мулов. В батальоне их восемь, и два первых уже роют копытами глинистый берег, топчут устилающий его тростник, облегченно ржут, отряхиваясь, меж тем как ездовые взваливают им на спину ящики со взрывчаткой и детонаторами.

Гамбо глядит на часы, а потом – с беспокойством – на небо. Дел еще на полчаса, а за это время может случиться много всякого-разного – хорошего и плохого. Второе вероятней.

Потом он смотрит на бойцов своего батальона – рассредоточившись, согласно его приказу, они сидят на земле и, кажется, не очень обеспокоены шумом боя, доносящимся из Кастельетса, хотя рано или поздно это затронет и их тоже. Под защитой сосняка они покуривают, заряжают гранаты или отдыхают. Вид их радует глаз: так и должны выглядеть бойцы настоящей народной армии – красные косынки на шее, татуировки с изображением красной звезды, серпа и молота. Все они поднаторели в атаках на вражеские траншеи, в ночных рейдах, и по тому, как держатся и как одеты, можно догадаться об их принадлежности к элитной части: обмундирование – в приличном состоянии, у каждого – стальная каска, по четыре гранаты и по

¹⁴ Хуан Негрин Лопес (1892–1956) – испанский политик, премьер-министр в 1937–1939 годах.

двести патронов в патронташах. В преддверии тяжелых боев древние мексиканские маузеры, никуда не годные и изношенные до такой степени, что стреляные гильзы выбрасывают через раз, им заменили на австрийские «манлихеры» – новенькие, что называется с иголки, еще в заводской смазке.

С восточной высоты доносится особенно сильный разрыв. Гамбоа и капитан поворачивают в ту сторону бинокли.

– Фашисты оказались более стойкими, чем мы предполагали.

– Да, похоже на то.

К ним подходит политкомиссар батальона Рамиро Гарсия – руки в карманах, трубка в зубах – и тоже смотрит, как разворачивается бой. Этот бывший парикмахер из Алькоя – малорослый, лет сорока, с постоянной улыбкой на румянном мальчишеском лице – вступил в должность всего три месяца назад, сменив предшественника, которому под Теруэлем оторвало обе ноги, но в ходе последних боев под Арагоном изрядно успел понюхать пороху. И обучить грамоте половину бойцов батальона – рабочих и крестьян, еще недавно не умевших ни читать, ни писать.

– Я-то думал, мы им уже сломали хребет, – говорит он.

– Сломали, – кивает Гамбо. – Но судя по тому, что слышно и видно, – еще не всем.

– Да и потом... наши там, по правде сказать, не очень-то...

Трое многозначительно переглядываются, но дальше никто не идет. Политкомиссар и два командира осведомлены, что состав, выучка и боевой дух 4-го батальона, штурмующего позиции, оставляют, мягко говоря, желать лучшего, и положиться там можно лишь на некоторых офицеров и на комиссара. Батальону поручили взять восточную высоту потому, что сочли это задание несложным, однако сопротивление оказалось неожиданно ожесточенным. Рамиро Гарсия, показывая черенком трубки на место действия, сообщает то, что сам узнал совсем недавно: на этой высотке нашли себе прибежище и закрепились выбитые с других позиций франкисты – оттого и возникли сложности.

– По всему судя, рассеять их не удалось.

– Ну вот нас, скорей всего, и пошлют исправлять то, что другие напортачили. Уж такое наше счастье.

Гамбо, переводя взгляд с высоты на мост, а потом на небо, качает головой:

– Не думаю... Нас держат в резерве на тот случай, если фашисты будут контратаковать.

– Они не пройдут, – подмигивая, отвечает Гарсия.

– В Кастельетсе франкисты найдут себе могилу, – в тон ему говорит Серигот.

– Это еще самое малое.

Они улыбаются понимающе. Гарсия – человек рассудительный и надежный, а его твердокаменная бескомпромиссность умеряется – не в пример многим другим политкомиссарам – здравым смыслом. Явление едва ли не уникальное – за все время существования батальона ни один его боец не был расстрелян за неповиновение, трусость, дезертирство или попытку перейти на сторону противника. Рамиро Гарсия для своих солдат – примерно то же, что полковой капеллан для франкистов: он оказывает идеологическую поддержку и дарует утешение. Одни погибают за царствие Христово, другие – за пролетариатово.

– Известно что-нибудь о нашей артиллерии? – спрашивает комиссар.

– Пока ничего.

– Интересно, где она сейчас, – говорит Серигот.

– 105-е уже должны быть на том берегу и поддерживать нас оттуда огнем. Место это называется Вертисе-Кампа... Однако что-то их не видно.

Комиссар досадливо морщится. Потом, сощурился глаза под козырьком фуражки, смотрит на небо.

– Как считаете – наши самолеты успеют ввязаться?

– Если фашистские не прилетят, мне и наших не надо.

Как люди ответственные и дисциплинированные, все трое отлично ладят между собой. Бывает, что спорят, но – по второстепенным вопросам, а в главном сходятся: в Испании, кроме коммунистов, нет настоящих революционеров; у остальных – в избытке пустых лозунгов, но не хватает научного понимания социализма; испанцы склонны к митинговщине, к стихийному бунту, к безудержному буйству, к бесполезному героизму, но органически не переносят подчинения. Большая часть левых воспринимает приказ, отданный или выполненный без предварительного обсуждения, как проявление фашизма. И лучшее доказательство этому: перед мятежом Франко самой многочисленной из всех профсоюзов была анархическая Конфедерация.

Рамиро Гарсия смотрит на другой берег, где навьючивают на мулов тяжелые минометы и русские «станкачи». Потом снимает фуражку и вытирает лоб платком сомнительной чистоты. Солнце, поднимаясь с каждой минутой все выше, начинает припекать.

– Жара сегодня будет дьявольская.

Гамбо кивает и смотрит на Серигота:

– Проследи, чтоб, перед тем как тронемся, бойцы доверху наполнили фляги: местность впереди гористая, сухая, воды там мало... В городке лишь несколько резервуаров, и черт их знает, полные они или нет. А единственный известный мне колодец далеко отсюда.

– Сделаю, не беспокойся.

Есть и еще кое-что такое, что известно только им троим, как, впрочем, и остальным старшим офицерам и комиссарам батальона, и о чем даже не догадываются командиры взводов и, само собой, рядовые: на совещании, которое проводил командир XI сводной бригады подполковник Фаустино Ланда, было ясно сказано, что цель атаки на Кастельетс-дель-Сегре – не глубокое проникновение в неприятельские порядки, нет, это – отвлекающий маневр на правом фланге республиканской армии, ведущей наступление по всей Эбро. Овладев городком и двумя высотами, бригада должна закрепиться там и оттянуть на себя как можно больше франкистских войск, не допустив переброски резервов по шоссе из Мекиненсы. Окопаться, занять оборону на участке глубиной шесть и шириной пять километров; батальон Островского остается в резерве до тех пор, пока противник не опомнится и не начнет напирать всерьез. Предусмотрено подкрепление – один батальон из состава интербригад и один – из частей береговой обороны, но неизвестно, какой дорогой они пойдут и когда придут. Да и вообще – придут ли.

– Слышите? Там внизу, кажется, началось веселье, – говорит Серигот.

Так и есть. Трое прислушиваются – с юга, откуда-то с Файона и дальше, ниже по реке, через равные промежутки доносятся артиллерийские залпы. Если все прошло, как задумано, сейчас в бой против 50-й дивизии франкистов вступили или скоро вступят почти сто тысяч республиканцев, которые должны взять Гандесу и, если им это удастся, двинуться дальше, к Средиземному морю, чтобы ослабить напор противника на Валенсию.

На высоте гремит сильный разрыв. Трое офицеров смотрят, как посреди склона расплывается облако пыли с посверкивающими в нем вспышками выстрелов.

– Лола, – говорит Гамбо, показывая туда.

На него смотрят в недоумении. Командир батальона, пожав плечами, достает сложенный вдвое листок и показывает его остальным.

– Так называется восточная высотка. А западная – Пепе. Я только что получил новые тактические обозначения. Командование решило для ясности назвать эти высоты так. Имейте это в виду, когда будете передавать что-либо. Не запутаемся.

– *Лола* и *Пепе*, – повторяет, ухмыляясь, капитан.

– Вот именно.

– Романтично.

Гамбо снова с тревогой оглядывает небо. Потом переводит взгляд на реку, где 2-я рота уже дошла до середины узкого мостика. Подгоняемые сержантами, солдаты бегут по настилу, но до того берега остается еще метров пятьдесят.

Тут раздается отдаленный, еле слышный гул моторов. И от этого звука у Гамбо кровь стынет в жилах.

– Самолеты.

Вернувшись с кладбища, Пато Монсон не нашла свой взвод там, где оставила его: лейтенант Харпо, сержант Экспосито и еще шестнадцать связисток будто испарились. Исчезли и катушка с проводом, и прочий скарб. Девушка озирается в растерянности и тревоге. Командир обещал оставить кого-нибудь для связи, но не видно ни души.

Она совершенно одна, в незнакомом месте, которое к тому же вчера тонуло во тьме. И это ей не нравится. Да и при свете дня видно немного: в отдалении – городок, где под звуки ружейной стрельбы уходит в небо дым горящих домов, и по обе стороны от городка – высотки. Подумав немного, Пато решает двинуться туда, в Кастельетс. А потому достает из кобуры пистолет, досылает патрон и осторожно, как учили в военной школе, идет вперед, стараясь не слишком выделяться на дороге и держаться в низинах.

Во рту пересохло, кровь бешено стучит в висках, становится жарко – не от солнца, ползущего по небу все выше, а от напряжения, судорогой сводящего все мышцы. Но, дойдя до неглубокого оврага, вернее – лощинки, поросшей тростником и кустарником, Пато обнаруживает там человек тридцать бойцов – синие и защитного цвета комбинезоны, еще не просохшие после переправы, винтовки, гранаты, подвешенные к наплечным ремням или к поясу, каски, красные звездочки на пилотках. Солдаты коротают время, как водится на всех войнах, – валяются на земле, курят, дремлют, чистят оружие. Кое-где слышна каталанская речь.

При виде Пато иные поднимают голову, с любопытством оглядывают невесть откуда взявшуюся перед ними женщину.

– Кажется, я уже помер и попал на небеса, – говорит кто-то.

Не обращая внимания на дружное посвистывание и хор комплиментов, Пато ставит пистолет на предохранитель и убирает в кобуру, подходит к парню со знаками различия лейтенанта, рассказывает, что делает здесь, спрашивает, где ее взвод связи. Офицер – худощавый и бледный, с расстеленной на коленях картой – окидывает ее все еще удивленным взглядом сверху донизу.

– Женщине здесь делать нечего, – резко говорит он.

– Я, товарищ лейтенант, сегодня уже второй раз это слышу. – Пато смотрит ему прямо в глаза, стараясь не моргать. – В конце концов поверю и уйду.

Лейтенант, чуть улыбнувшись, еще минуту молча смотрит на нее. Потом спрашивает, откуда она тут взялась.

– С кладбища.

Лейтенант вскидывает брови под козырьком фуражки. Он удивлен.

– Оно наше?

– Когда пришла туда, было нашим.

Улыбка медленно гаснет на лице лейтенанта. Он переводит взгляд на кобуру с пистолетом:

– В бою приходилось бывать?

– Нет пока. Смотрела со стороны.

– Могу себе представить... Зрелище не для слабонервных. И гремело – дай бог.

– Да уж... Но что поделать – мы на войне.

Лейтенант теперь смотрит на нее с большим уважением.

– Где твой взвод сейчас, я не знаю. Когда мы пришли сюда полчаса назад, здесь уже никого не было. Если это связисты, то, скорей всего, направились в городок, – он ведет пальцем по карте, показывая дорогу, а Пато сверяется со своим планом. – Командование бригады собиралось разместиться в здоровенном таком доме, называется Аринера.

– Где он?

– Вот здесь, на окраине. Видишь? Справа от дороги.

Пато изучает свой чертежик внимательно, ибо знает, что ошибка может стоить ей свободы или жизни.

– Дорога сейчас свободна?

– Вроде бы, хоть я и не уверен... Сама знаешь, как оно бывает на войне... – И спрашивает с нажимом: – Знаешь?

– Знаю, – без колебаний отвечает она, словно и вправду знает.

– Если решишь идти, придется действовать в одиночку. Провожатых тебе дать не смогу.

– Я и не прошу.

Лейтенант смотрит оценивающе:

– Верно, не просишь. – И, искоса оглядев своих солдат, снова улыбается. – Судя по тому, что ты разгуливаешь тут в одиночестве, мужества у тебя побольше, чем у иных мужчин.

Любопытствуя, к ним подходит сержант. Красная косынка на шее, шеврон на рукаве, карабин «Тигр» за спиной. Верхняя губа рассечена шрамом, в углу рта дымится окурочок.

– Если в город идешь, держись подальше от сосняка, который увидишь слева, – вмешивается он. – Там, говорят, бродят одиночные мавры, стреляют во все, что движется. Мы, конечно, фашистам крепко врезали, но у них есть приказ перегруппироваться на дальней высотке.

– Да, это так, – подтверждает офицер.

– Кто говорит? Откуда это известно?

– Вон эти рассказали.

Он показывает на край ложбины, где сидят восемь связанных пленных франкистов. Бледные, испуганные, дрожащие, они жмутся друг к другу, как овцы при появлении волка. Это пехотинцы из 50-й дивизии. С них сняли обувь и ремни. Один ранен в голову, и сквозь наспех сделанную перевязку сочится, пачкая рубашку, кровь.

– Взяли-то мы девятерых, – говорит сержант. – Но девятый оказался мавром.

От смеха сигарета подрагивает у него во рту. Пато, кивнув, поднимается на ноги.

– Водички не найдется у вас?

– Может, вина?

– Удовольствуюсь водой.

– Разумеется, моя красавица. Вода чистая, из родника.

Он протягивает флягу. Пато подносит ее к губам, пьет маленькими глотками. Затыкает горлышко, отдает флягу сержанту.

– Спасибо, товарищ.

Лейтенант открывает перед ней кисет с уже свернутыми самокрутками.

– Не желаешь?

– Нет, спасибо.

– Здоровая и без вредных привычек, – замечает сержант. – То, что доктор прописал.

– Да нет, просто у меня свои, – отвечает Пато.

– Да ну? Изысканные какие-нибудь?

– Вредные привычки?

Раздается смех.

– Сигареты!

– Американские. «Лаки страйк».

Сержант завистливо поджигает губы:

– Ишь ты... Ладно, вношу поправку: здоровая, но предается порокам, которые обходятся дорого.

Пато достает одну из тех двух пачек, что у нее в кармане комбинезона:

– Угостить тебя, товарищ?

– Ты еще спрашиваешь?!

Отшвырнув окурок, сержант с наслаждением нюхает сигарету, набитую светлым табаком, и бережно ее прячет. Еще одну Пато протягивает лейтенанту, потом вскидывает к виску сжатый кулак, отдавая честь по республиканскому уставу:

– Салют, товарищи.

– Салют и Республика, конфетка моя... И – удачи тебе.

В десяти шагах от ложбинки Пато видит мавра. Впрочем, сначала слышит гудение мух и лишь потом видит в кустах труп, лежащий ничком. Руки связаны за спиной, половина черепа снесена выстрелом в упор.

Она впервые видит мавра-франкиста: раньше не доводилось – ни живого, ни мертвого. И потому останавливается, рассматривает убитого, разбираясь в своих ощущениях. Безмерна ее любовь к людям – отчасти еще и поэтому она находится здесь, – но она никак не может признать в этой падали человеческое существо, а не врага, стертого с лица земли, не дохлого зверя. Она слышала рассказы о том, что вытворяют мавры, воюющие за националистов. Что они делают с пленными, с женщинами и детьми. Пато – политически грамотная активистка компартии и потому, как ей кажется, знает, что из себя представляет этот человек и ему подобные – туземцы, нанятые в притонах Марокко, привезенные сюда как дешевое пушечное мясо, идущие в бой, чтобы насиловать, грабить и убивать. Эти туповатые и простодушные дикари не уступают в изощренной жестокости ни наемникам-легионерам, ни убийцам-фалангистам, ни фанатикам-рекете, ни германским нацистам, ни итальянским фашистам.

Она припоминает, как брат ее матери в 1921 году отвоевывал Аннуаль и Монте-Арруит и хоронил сотни безжалостно убитых солдатиков, оставшихся без командиров, убежавших в Мелилью; Пато будто слышит сейчас меланхоличный голос дяди Андреса, видит его опаленные бесконечными сигаретами усы – вот он сидит за столом-камилей¹⁵, вспоминает Африку и плачет, и в покрасневших, полных слез глазах стынет давний, но неизбывный ужас.

Так что не ей жалеть мертвого мавра со связанными за спиной руками.

Когда-нибудь, размышляет она, разглядывая труп, когда мир станет совершенней, чем сейчас, даже эту падаль, тухнущую на солнце, признают искупительной жертвой, принесенной в последнем и решительном бою за то, чтобы каждый получил право на хлеб, справедливость, знания и культуру. Как еще долг путь до этого. Сколько мозгов предстоит переделать. Сколько боев за свободу выиграть. И сколько еще впереди дней борьбы с неясным исходом.

Внезапно Пато чудится, что она оказалась в каком-то фантазмагорическом сером пейзаже – словно вдруг померкло на миг солнце, которое тем не менее по-прежнему ярко сияет на безоблачном небе.

И главное – наваливается страшное одиночество.

Повинуясь инстинкту самосохранения, девушка снова достает из кобуры пистолет – взмокшая ладонь увлажняет накладку на рукоятку, палец, как научили ее в военной школе, вытянут параллельно скобе и не касается спускового крючка – и осторожно шагает в сторону городка, стараясь следовать совету сержанта и держаться подальше от сосняка. И, поднявшись на взгорок, чтобы обойти теперь уже бесполезные проволочные заграждения, оглядывается на

¹⁵ Камилля (исп. *camilla*) – круглый или квадратный деревянный столик. Зимой столик накрывают одной или несколькими скатертями из плотной ткани – эти скатерти называются «юбками» или «одеждами». Летом плотные скатерти уступают место легким – эти, чтобы подчеркнуть их несущественность и легкомысленность, называются «юбочками» или «платьями». Внизу у столика-камиллы есть еще одна «столешница» с отверстием посередине – туда помещают жаровню с горящими углями, и таким образом плотно укутанный столик превращается в обогревательный прибор, за которым зимой собирается вся семья.

далекую реку, убеждается, что по ней по-прежнему медленно движутся лодки с солдатами, а те, что уже высадились, теперь идут вглубь, стараясь держаться в овражках и лощинах.

Это настоящая народная армия, говорит она себе с гордостью. Армия Республики, испанская армия, наконец-то спаянная дисциплиной, армия, где на командных должностях теперь почти исключительно коммунисты – основательные, серьезные люди, способные держаться до тех пор, пока Франция и европейские демократические страны не вступят в войну с Германией и Италией. Истинно народная армия, образцовая, закаленная, стойкая, героическая. Идущая в первых рядах борьбы с фашизмом, и за эту борьбу мир рано или поздно воздаст ей должное.

Пато продолжает смотреть на реку. Вдалеке, от берега к берегу, чуть прогибаясь в середине под напором течения, идет понтонная переправа, по которой, как нескончаемая вереница муравьев, движутся люди. Девушка уже собирается продолжить путь, когда замечает в небе три темные точки – они приближаются очень медленно, держась близко друг к другу, как птичья стая. И Пато застывает, не сводя с них глаз, пока не осознает, что это – самолеты. Лишь мгновение спустя становится слышен рокот моторов – и вот монотонный гул постепенно нарастает, усиливается, набирает такую мощь, что кажется, от него подрагивает небесная лазурь.

Погоди, думает она, может быть, это наши.

Это было бы в порядке вещей. Немыслимо, чтобы такая операция – переправа через Эбро между Кастельетсом и Ампостой – проводилась без поддержки авиации. Чтобы под прикрытием истребителей мощные бомбардировщики – управляют ими и испанцы, и советские товарищи – не обрушили свой смертоносный груз на позиции противника, не разнесли там все в пыль, не поспорили бы с фашистскими самолетами, которые наверняка скоро появятся, за господство в воздухе. И Пато, держа в одной руке пистолет, а другую козырьком приставив ко лбу, глядит в небо, где три черные точки становятся все больше, а рев двигателей – все отчетливей.

Но тут, к ее удивлению, самолеты – уже можно различить их длинные крылья и солнечные блики на лопастях винтов, слившихся в сплошные сверкающие круги, – вместо того чтобы устремиться на правый берег реки, снижаются над левым. И почти разом от них отделяются шесть поблескивающих на солнце капелек и с обманчивой медлительностью летят туда, где проходит переправа и реку пересекают лодки.

Замершая в изумлении Пато, заслонясь от солнца ладонью, стоит неподвижно. И видит, как между лодками и мостом вырастают четыре высоких столба воды, а крохотные фигурки цепляются за борта, стараются скорчиться или распластаться на дне, меж тем как на ближнем берегу вместе с тучами земли и камней взлетают к небу две ярко-оранжевых вспышки.

Мгновение спустя воздух вокруг как-то странно вздрагивает, донося до нее грохот разрыва. Одновременно она видит, как самолеты – теперь уже можно узнать немецкие «хейнкели», – сбросив бомбы, сваливаются на левое крыло, снижаются еще больше и, поочередно заходя на цель, поливают пулеметным огнем берег, сосновую рощу, отдельные деревья: фонтанчики пыли, взвихренной пулями, стремительно приближаются туда, где, скованная неожиданностью и страхом, стоит Пато.

Слышится оглушительное тарактение. Такатакатак. Такатакатак.

Когда эти стелющиеся по земле цепочки оказываются уже в двадцати-тридцати метрах, Пато, стряхнув оцепенение, понимает, что стоит на линии огня. С утробным отчаянным воплем она бросается плашмя, чувствуя, как впиваются ей в локти и колени острые камни и твердые комья земли, роняет пистолет, обхватывает затылок ладонями, как будто можно защититься от раскаленного металла, который впивается в землю вокруг, вспахивает и ворошит ее, дробит камни, осыпая спину и ноги их осколками, комьями, срезанными ветвями кустарника. Когда смолкает пулеметный стрекот и, отдаляясь, слабеет гул моторов, а девушка – ее синий комбинезон промок от пота – оглядывается, самолеты уже снова превратились в три черные удаляющиеся точки на небе.

А где же наши, недоуменно спрашивает она себя.

Куда же запропастились наши самолеты, будь они прокляты?

Она медленно поднимается, ощупывает ноющее тело, подбирает в кустах пистолет, сжимает его в руке и идет в сторону Кастельетса. Во рту пересохло, нёбо и язык – как наждак, но при мысли о тех, кто на рассвете погиб на кладбище, о мертвом мавре, об оранжевых разрывах бомб на берегу Пато ощущает какую-то свирепую радость оттого, что жива.

Хинес Горгель, на свою беду, не сумел ни удрать, ни спрятаться. Бывший плотник из Альбасете бежит по окраине Кастельетса, отыскивая шоссе, когда путь ему преграждают несколько легионеров. Заметив его, они вылезли из канавы рядом с домиком, где когда-то размещались дорожные рабочие. Капрал и двое солдат: расстегнутые рубахи, волосатые груди, густые бакенбарды, тянущиеся из-под зеленых пилоток, сдвинутых набекрень. В руках – винтовки с прикинутыми штыками. Вид, надо сказать, добрых чувств не вызывает.

– Куда путь держим?

Горгель, с трудом переводя дыхание, стоит молча. Капрал с подозрением оглядывает его пустой патронташ:

– А винтовка где?

– Не знаю.

– Какой части?

– Не знаю.

– Документы предъяви.

– Нету. Я их разорвал.

– Почему?

– Меня чуть было не сцапали красные.

Горгель присаживается на обочине. Он пробежал по городку километра полтора и очень устал. И сейчас ему все безразлично.

Капрал, кажется, обдумал все и принял решение. Закинув ремень маузера за плечо, он дергает головой, словно отгоняя неприятную мысль.

– Придется тебе вернуться.

– Куда?

Капрал молча показывает туда, где в полукилометре к востоку от Кастельетса виднеется скалистый склон, лишь кое-где поросший приземистым кустарником. А с противоположного ската высоты доносится шум боя, и после каждого разрыва взлетают и лениво висают в воздухе клубы пыли.

– Я с ума не сошел пока.

Капрал оказывается человеком терпеливым.

– Смотри, тут такое дело... – говорит он. – Нас поставили задерживать молодцов вроде тебя. Если раненый, пропускаем вон туда, – он показывает на шоссе, – если цел и невредим, приказано возвращать на высоту: там уже собрались мавританский табор, взвод Легиона и такие вот одиночки, как ты, отбившиеся от своей части. Они пока держатся, но противник наседает, так что люди позарез нужны.

– Я не в том виде, чтобы...

– Вид у тебя прекрасный, – отвечает капрал, критически оглядев его.

– Я сегодня уже два раза был в бою.

– Бог троицу любит.

– Не собираюсь возвращаться.

– Так соберись.

– Сказано же – не пойду!

Остальные легионеры переглядываются. Капрал, пожав плечами, похлопывает по прикладу винтовки:

– Вот что я тебе скажу, дружище... Не нарывайся на неприятности, мой тебе совет. Нам приказано за неподчинение расстреливать на месте.

– Да стреляй на здоровье. И покончим с этим.

Это сказано без бравады. Хинес Горгель вполне искренен. Ему и в самом деле все безразлично. И хочется только одного – идти и идти, пока все это не скроется из виду. Или – остаться, повалиться на щебенку и спать, спать много часов, дней, месяцев подряд.

– Вот где мне все это... – бормочет он.

– Всем нам так.

– А мне – больше всех.

И внезапно начинает плакать. Плачет беззвучно, без драматических рыданий – слезы текут ручьями, оставляя бороздки на грязных щеках, скатываются с кончика носа. Капрал смотрит пристально, словно в самом деле решает для себя – пристрелить его или нет. Загорелое небритое лицо. Морщинки вокруг глаз почему-то придают взгляду суровости.

– Мы вот как поступим, – говорит он. – Видишь кувшин?

Горгель смотрит туда, куда показывает капрал. У дверей хибарки, в тени, стоит глиняный кувшин.

– Вижу.

– Значит, первым делом напейся вволю, потому что ты, наверно, от жажды измучился, как не знаю что. А потом пойдешь вон туда, к той высотке, и идти будешь, пока не встретишь наших. Там внизу – люди, держат оборону. Или пытаются, по крайней мере. Представишься и будешь делать, что скажут.

– А если нет?

Капрал, не отвечая, оглядывает своих солдат. Один из них упирает штык в плечо Горделя и чуть-чуть покалывает.

– Подъем.

Горгель не двигается. Тело не слушается его, думать он не в состоянии. Все происходящее кажется ему каким-то кошмарным сном, из пелены которого усилием воли можно, наверно, выпутаться. Или хоть попробовать. И он пробует – раз и другой. Но тщетно – жуткий сон остается явью.

Так это все взаправду, с ужасом понимает он внезапно.

Легионер теперь приставляет ему штык к затылку, нажимает чуть сильнее. Укол не слишком болезненный, но ощутимый.

– Выбирай, – говорит капрал. – И поживей.

Горгель, покачиваясь на шатких ногах, медленно выпрямляется. Капрал снова показывает на кувшин, а потом – на восточную высоту.

– Пей и отправляйся. Прямо к тому холму, понял? Мы глаз с тебя не спустим: свернешь в сторону – будем стрелять.

– И ужокошим к той самой матери, – добавляет легионер.

Пули пролетают над головой с басовитым посвистом, другие щелкают о мостовую, шлепаются о фасады.

Франкистский пулемет пристрелялся и держит улицу под огнем: черно-желтый рекламный плакат с изображением «Нитрато де Чиле»¹⁶ так исклеван пулями, что кажется – и мула, и всадника уже расстреляли.

¹⁶ «Нитрато де Чиле» (исп. Nitrato de Chile) – популярная в Испании марка удобрений на основе чилийской селитры. На желтом рекламном плакате изображен черный наездник на вороном коне.

Высунув голову из подвала, Хулиан Панисо видит на мостовой два трупа. Это республиканцы. Один – поближе, у порога, скорчившись над винтовкой, которую никто не осмелился забрать у него. Голова в луже крови повернута в другую сторону.

Второй – подальше, посреди улицы. Свалился одновременно с первым: когда все продвигались вперед, прижимаясь к стенам домов, с колокольни неожиданно ударил пулемет. Сначала бедняга упал замертво, но, пока Панисо и остальные прятались по подвалам и подъездам, видно, очнулся и пополз, оставляя за собой красную полосу. Судя по всему, пуля перебила ему позвоночник, потому что он полз, отталкиваясь от земли руками и волоча ноги.

– Помогите, товарищи! – с тоской взывал он.

Однако рисковать никому не хотелось. Пулеметчики выждали немного, удостоверились, что наживка осталась нетронутой, и дали очередь – для собственного удовольствия выстукивая выстрелами «стаканчик анисовой»¹⁷. Рата-тата-та-та. Эта забава требовала навыка и ловких пальцев. И вот теперь он уже не шевелится.

Панисо сидит, привалившись спиной к стене, опирается на автомат, смотрит на своего напарника Ольмоса – тот мал ростом, с изможденным лицом, однако крепок как кремль. На плече – пилотка с отрезанной кисточкой, он говорит, что болтается только у гомиков и фашистов. Вид у бывшего сверловщика такой же усталый, как у остальных, – двухдневная щетина, круги под глазами, грязная форменная рубашка, на груди крест-накрест моток запального шнура, детонаторы и патронташи, за спиной вещевой мешок. Всклоченные волосы, лицо и одежда уже припудрены кирпичной и гипсовой крошкой, поднятой в воздух пулями и разрывами.

– Есть чего покурить, Пако?

– Держи.

Он протягивает товарищу кiset с мелко нарубленным табаком и бумажкой. Панисо без спешки, вытерев сначала влажные от пота руки о штаны, сыплет табак, двумя пальцами скручивает сигарету, заклеивает ее языком. Когда он подносит ее ко рту, Ольмос протягивает ему зажигалку с дымящимся трутом. Панисо благодарно кивает. Славный человек, думает он. Повезло с напарником. Мало того что они земляки, но еще и одинаково презирают и окопавшихся в Мадриде и Валенсии предателей, и не признающих дисциплину анархистов, из-за которых, того и гляди, проиграем войну, и продавшихся капиталу барчуков – что правых, что левых, – и кадровых офицеров, и попов.

– Табачок, надо сказать, так себе.

– Чем богаты, – пожимает Ольмос плечами. – И такого-то мало осталось.

– Ну, может быть, скоро разживемся хорошим...

– Ага. С Канарских островов. У фашистов куплю.

Панисо улыбается, щурясь от дыма. Шутка словно освежила ему пересохший рот.

– До того как заработал пулемет, я успел заметить в конце улицы табачный ларек... Так что нам тратиться не придется.

– Когда мы доберемся дотуда – если вообще доберемся, – его уж наверняка разнесут: не наши, так те.

– Это точно.

– Когда курить нечего, война становится уж полным дерьмом.

– Когда куришь, в общем, тоже.

¹⁷ «*Стаканчик анисовой*» (исп. una sorita de ojén) – популярная музыкальная фраза из семи нот, известная еще с XIX века. Широко использовалась в музыкальных представлениях для создания комического эффекта, а также в рекламе, благодаря чему в США известна как «Стрижка и бритье за две монеты», в Италии как «Убей старушку инсектицидом „Флит“», а в Испании – «Стаканчик анисовой».

Несколько раз неглубоко затянувшись, Панисо снова выглядывает наружу, где время от времени пули вновь начинают щелкать по мостовой и стенам. Двое убитых лежат, как лежали. Спокойно и тихо. Никого на свете нет спокойней убитых.

– Кажется, мы с тобой вляпались, – говорит он.

– Не кажется, а так оно и есть.

Недолгое молчание. Дымок медленно струится из ноздрей подрывника.

– Здесь мы к площади не пройдем. Нас всех ухлопают.

– Будь уверен.

– Да я и так...

В тесном пространстве подвала они не одни – кроме тех двоих, с которыми они ночью взорвали пулеметное гнездо, здесь лежат вповалку еще семеро. Все они, как и Панисо с Ольмосом, из ударной саперной роты Первого батальона, получившего приказ взять городок, выбив оттуда противника. Подрывники соединились с остальными на заре, когда в предрассветных сумерках те выдвинулись в центр Кастельетса. Теперь, когда почти половина городка у них в руках, республиканцы попытались пройти на площадь, где стоят церковь и магистрат, однако дрогнувшие поначалу франкисты то ли опомнились, то ли получили подкрепление. И вцепились мертвой хваткой. А у республиканцев нет уже прежнего пыла, они постепенно теряют боевой задор. Двое убитых на мостовой – не единственные потери, и никто не хочет быть следующим.

– Слышишь, Хулиан? – спрашивает Ольмос.

Панисо прислушивается. Да, в самом деле. К треску выстрелов, хлещущих вдоль улицы, присоединились теперь глухие удары, доносящиеся изнутри дома. От них даже слегка подрагивает стена, к которой он прижимается спиной. Он наостряет уши. Бум! Бум! Размеренный, ритмичный грохот. Бум-бум-бум.

Ольмос глядит на него с тревогой:

– Что это?

– Кабы я знал...

– А откуда идет?

Панисо, потушив самокрутку, прячет окурок в жестяную коробочку из-под леденцов от кашля. Потом подхватывает свой автомат и поднимается.

– Дай пройти, – говорит он своим людям.

Он протискивается между ними, чувствуя, как несет от них – и от него самого – запахом зверинца, и входит. Дому досталось в равной мере и от убежавших франкистов, и от захвативших его республиканцев: слуховое оконце дает достаточно света, чтобы рассмотреть поваленную мебель, обломки посуды, истоптанную одежду на полу. На столе видны остатки вчерашнего ужина – грязные тарелки, перевернутые горшки на плите. В углу, который использовали как отхожее место, смердят экскременты. Лица на пожелтевших, выцветших фотографиях в витых рамках напоминают о безвозвратно минувших временах. В проволочной клетке – трупики двух канареек.

– Вон оттуда они доносятся, – говорит у него за спиной Ольмос. – Из этой спальни.

Панисо, подняв автомат, входит в комнату. В проломе потолка виден кусочек синего неба, голые стропила, поломанная черепица. Удары теперь раздаются из-за перегородки рядом с железной кроватью, покрытой паутиной. От второго удара срывается со стены Сердце Иисусово вместе с большим куском штукатурки.

– Ишь, черти... – говорит Ольмос. – Вот здесь и лупят.

Панисо кивает, и оба отступают к двери, куда уже с тревогой заглядывают их товарищи.

– Фашисты или наши? – спрашивает кто-то.

– Кабы я знал... – повторяет Панисо.

Все берут оружие на изготовку. От второго удара в стене появляется острие кирки. Еще два удара – и отверстие расширяется, от третьего выпадают, вздымая пыль, кирпичи, и через пролом солдаты могут видеть, что происходит по ту сторону. Панисо, вскинув автомат, наводит его на дыру.

– Кто там? – кричит он.

Удары стихают. Панисо продолжает целиться, а Ольмос отцепляет от ремня польскую гранату-лимонку и выдергивает чеку.

– Отвечайте, мать вашу! Кто такие?

Мгновение тишины – словно там, за стеной, раздумывают, и вслед за тем слышится:

– Республика.

– Рожа покажи, только медленно.

В проломе появляются две руки, а следом – фуражка с пятиконечной звездой в красном круге и испуганное лицо – бородатое, широкое, щекастое лицо с разноцветными глазами, – принадлежащее политкомиссару Первого батальона Росендо Сеэгину. Следом – лицо лейтенанта Гойо, командира саперной роты.

– Что ж вы нас так пугаете-то, сволочи? – говорит он.

– Еще дешево отделались, – отвечает Ольмос, вставляя чеку на место.

Начинается выяснение всех обстоятельств. Панисо рассказывает, что франкистский пулемет заставил их залечь, а Гойо и Сеэгин – что, помимо станкового пулемета, по главной улице бьют еще два ручных, а потому им пришлось прорываться через дома, круша перегородки. Иначе было никак не соединиться.

– Мы было послали к вам связного, но он вернулся с пулей в ноге, – говорит Гойо. – Сколько вас тут?

– В этом доме – одиннадцать. И еще двадцать – в других, позади. На той стороне улицы еще сколько-то из бригады Канселы.

Лейтенант показывает на отверстие в стене:

– Остатки моей роты тоже на той стороне... А снести с Канселей можно?

– Отчего же нельзя... Покричать им, не высываясь.

– Будем кричать – франкисты услышат, – предупреждает Ольмос.

– Это верно. Они чуткие, как рыси.

Лейтенант задумывается на мгновение:

– Попробуем. Куда идти?

Панисо ведет их в подвал. Лейтенант осторожно высовывает голову наружу, видит двух убитых, слышит выстрел и поспешно прячется.

– Противник, – объясняет он, – укрепился в церкви и вдоль шоссе, которое перетекает в главную улицу и пересекает городок. На нашей стороне – школа и магистрат... Ждем тяжелое вооружение: как доставят – можно будет атаковать и выбить их. Мы пойдем с 1-й ротой. 2-я и 3-я останутся в резерве.

– Чем будем располагать? – спрашивает Панисо.

– Прибудут четыре пулемета, а у въезда в город, возле Аринеры, поставят 50- и 81-миллиметровые минометы.

– Приятно слышать... А что насчет артиллерии?

– Почти готова к переправе... Ну, по крайней мере, мне так сказали.

– «Почти»?

– Почти.

– То есть прибудет с опозданием, правильно я понимаю? Наши батареи давно должны были открыть огонь.

– Ну ты сам знаешь, как это бывает... и в любом случае мы так близко подобрались с фашистам, что лучше бы нашей артиллерии пока помолчать. Чтоб своих не задеть.

– Много предателей у нас развелось, – цедит сквозь зубы Ольмос.

Лейтенант прищелкивает языком, краем глаза беспокойно косясь на комиссара.

– Брось... Это старая песня... Что это у нас: чуть что – сразу начинаем предателей высискивать?

– Скажешь, нет? А кто нас бросил под Теруэлем?

– Ну хватит, Ольмос. Не заводись.

– Буду заводиться. Кампесино¹⁸ удрал оттуда, как крыса.

Лейтенант снова взглядывает на комиссара, который так и не открыл рот.

– Ну хватит уж, хватит прошлое ворошить... Мы уже не в Теруэле, а на Эбро. А проблемы эти – обычное дело на войне. Кроме того, франшисты открыли шлюзы, уровень воды повысился, все осложнилось. Едва не сорвало понтонный мост – единственный, который мы успели навести.

– А танки? – осведомляется Панисо.

– Планируется перебросить к нам несколько русских Т-26, это отличные машины. Но, разумеется, после того, как мы придумаем способ переправить их на тот берег.

– А как на других участках?

– Насколько я знаю, неплохо. Кладбище – наше, западная высота скоро тоже будет наша, а восточную атакует 4-й батальон.

– В 4-м – не солдаты, а никуда не годный сброд, – будто сплевывает подрывник. – Слабаки.

– Не слабей тех, с кем дерутся, – отвечает лейтенант.

– Об этих там, напротив, так не скажешь, – замечает Панисо, показывая на улицу. – Шкуру свою задорого продают.

– Я говорю о тех, кто сбежал с этой высотки после того, как мы им намылили холку.

Отбросы они, и больше ничего. Четвертый справится с ними.

– Ну хорошо, а авиация наша где? – не унимается Ольмос.

Пока лейтенант раздумывает над ответом, слово берет комиссар Сеэгин.

– Прилетит, не сомневайся, – трубно провозглашает он. – В свое время.

– Отрадно слышать, потому что пока над нами кружит только франкистская хреновина. Комиссар смотрит на него осуждающе. Он явно уязвлен такой бестактностью.

– Товарищ, фронт по Эбро занимает полтораста километров. Нельзя быть одновременно всюду.

– Ну да. Вечная история.

– Ладно, а нам что делать? – весело вмешивается Панисо. – Будем снова атаковать или тихо посидим?

Комиссар смотрит на лейтенанта Гойо, предоставляя ответ ему. И тот излагает план: после минометного обстрела, который должен будет ослабить сопротивление франкистов, начнется атака на здание, где прежде помещался Профсоюз трудящихся, – оно на другой стороне улицы, – а оттуда легче будет подобраться к церкви. Атака, добавляет он, взглянув на часы, через час, и саперам в ней отводится важная роль – надо будет взрывать стены, дома и брустверы огневых точек.

– Так что готовьте запальные шнуры и тротил. Шуму надо наделать побольше.

Да, вот еще что, торжественным тоном произносит комиссар. То, что он сейчас скажет, не касается Панисо и других товарищей, потому что они люди надежные и заслужили доверие. Однако он, как и другие комиссары, получили строгие инструкции. Армия, стоящая на Эбро, – это авангард мирового пролетариата, это армия народа. Против нее сражаются либо

¹⁸ *Кампесино* («крестьянин») – прозвище видного республиканского военачальника Валентина Гонсалеса Гонсалеса (1904–1983).

наемники капитала, либо те, кого погнали в бой силой. А потому на этот раз – никаких перебежчиков, никаких дезертиров. Всякое неповиновение и недисциплинированность пресекать. И – не дрогнуть в бою, пусть фашисты дрожат.

– Мы – революционные бойцы и гордимся этим, – наставительно изрекает он. – Все, кто попытается увильнуть, кто изменит нашему делу, кто струсит, подлежит расстрелу на месте – для примера и в назидание, без суда и следствия. И каждому из вас надлежит зорко следить за поведением ваших товарищей.

Лейтенант Гойо, словно ничего не слыша, по-прежнему стоит лицом к улице. Ольмос и Панисо, понимающие друг друга без слов, общаются переглядываясь. Им ли, закаленным бойцам, прошедшим огонь и воду, побывавшим в стольких боях, робеть перед красной звездочкой на комиссарской фуражке? Тем более что он, по слухам, до 36-го года был семинаристом.

И по совокупности этих причин Панисо позволяет себе кривовато улыбнуться в ответ на его слова.

– А расстреливать их придется нам лично или ты этим займешься?

Комиссар, задетый этими словами, вспыхивает. И проглатывает слюну.

– Таков приказ. Мы – коммунисты, и я передаю вам волю партии.

– Что же, подождем, когда в довесок к этому ты передашь нам копченой колбаски.

– И покурить, – добавляет Ольмос.

Тут уже лейтенант не выдерживает, поворачивается и, искоса поглядывая на комиссара, говорит подрывникам:

– Ладно, к делу... Надо бы связаться с бригадой Канселы.

IV

На другом конце площади, под колокольной, Сантьяго Пардейро, жуя ломоть вяленого мяса, привстает на цыпочки и осторожно выглядывает из-за баррикады, возведенной его легионерами в одном из переулков, – древняя колымага, укрепленная мешками с землей, балками, шкафами, столами и тюфяками, добытыми в соседних квартирах. Сооружение не слишком прочное и артиллерийского огня не выдержит, но все же под его прикрытием можно будет перебежать в примыкающие к церкви дома, и никого по дороге не подстрелят.

Младшему лейтенанту не дает покоя забота о том, чтобы его люди по-прежнему были рассредоточены вдоль главной улицы и с ними можно было поддерживать связь. Так можно будет координировать огонь, передавать приказы, принимать донесения и обеспечить в случае надобности спокойный отход, где одни будут поддерживать других.

Пардейро знает, что командует профессионалами и хотя бы в этом отношении может не тревожиться, однако всякий бой легко срывается в хаос непредвиденных ситуаций. Он убедился в этом на собственном опыте, когда в мае красные начали контрнаступление на Лериду и тщательно разработанный план рухнул за четверть часа, рота потеряла треть своего состава и всех офицеров, а он, младший лейтенант, получивший тогда боевое крещение, принял на себя командование подразделением, которое сражалось уже не за то, чтобы выйти на обозначенный рубеж, а чтобы отступить в порядке и выжить.

– Владимир!

– Я, господин младший лейтенант.

– Подойди-ка.

Русский, который стоял в ожидании у боковых дверей церкви вместе с горнистом, двумя связными, неотступно, как верные псы, следовавшими за командиром, и вестовым по имени Санчидриан, подходит, чуть пригнувшись, к баррикаде. За спиной у него – автомат «беретта-18/30».

– Слушаю, господин младший лейтенант.

Пардейро обводит взглядом площадь, а потом оценивающе рассматривает колокольню. Пулемет, поставленный там, молчит. Пардейро приказал огня не открывать, покуда на другой стороне улицы красные не зашевелились всерьез. Надо беречь патроны – их не то чтобы в обрез, но и не выше крыши.

– Высунься чуть побольше... Смотри. Видишь магистрат и школу?

– Вижу.

– Я по-прежнему считаю, что они пойдут оттуда: смотри – оттуда, где площадь сужается и перетекает в улицу. Рядом с галереей.

Владимир в раздумье щурит свои раскосые глаза. Потом молча кивает. Пардейро показывает на примыкающее к церкви здание, где когда-то помещался Профсоюз трудящихся, и по старой памяти, даже когда город освободили, все продолжают называть его так.

– Надо бы укрепить его... пошли-ка туда еще человек пять, самых надежных.

– Будет исполнено.

– Сними их оттуда, где народу побольше, чтоб незаметно было, и пусть возьмут один ручной пулемет... Они должны во что бы то ни стало поддерживать связь с «Домом Медика» – он совсем рядом, и красные могут просочиться.

Сержант четко – строевой устав и легионерское самосознание ввелись ему в кровь и плоть: точно так же он вел себя на Балагерском мосту, где людей выкашивал ураганный огонь, – подносит руку к пилотке:

– Слушаюсь, господин младший лейтенант.

– Давай-давай, они попрут с минуты на минуту.

Война, размышляет Пардейро, глядя ему вслед, – это прежде всего вопрос арифметики: Господь берет сторону злых, когда их больше, чем добрых. Лейтенант уже потерял троих из тех, с кем входил в Кастельетс, – из ста двадцати девяти легионеров и девяти местных активистов Фаланги, добровольно примкнувших к ним. Это произошло около часа назад, когда красные появились возле площади, завязался бой, и пришлось убираться из магистрата – единственного здания на другой стороне, занятого его людьми. Красные лезли отовсюду, оборонявшимся пришлось отступать, и троих, замыкавших отход, – двух фалангистов и легионера – подстрелили на бегу. Сейчас бугорки их неподвижных тел виднеются возле пилона на площади.

За вычетом этих бедолаг, невесело размышляет Пардейро, остается 135 человек. Никак недостаточно, чтобы справиться с тем, что надвигается на них. Тем не менее пулемет на колокольне все же удержал и продолжает удерживать красных, которые, в свою очередь, пытались пересечь площадь. Они тоже наверняка несут потери. Доказательство этому – они пока притихли: время от времени постреливают, однако и носа из укрытий не высовывают.

Пардейро знает, что это ненадолго, скоро опять полезут. Раньше была просто разведка боем, проба сил. Он недавно обошел свои позиции, убедился, что его люди заняли свои места, что два станковых и два ручных пулемета размещены где нужно и сектора обстрела перекрывают друг друга, что солдаты, залегшие за брустверами в подворотнях, в окнах и на балконах по всей трехсотметровой линии обороны, способны оказать сопротивление.

Помимо боеприпасов, его заботит и вода. Солнце печет, зной нарастает – сам лейтенант уже скинул френч, – и в таких условиях жажда может стать нестерпимой. Нет пытки жесточе, чем жажда, не говоря уж о том, что нечем будет обрабатывать раны. В боях за Синку он своими глазами видел, как закаленные бойцы буквально распадались на части, оставшись на двое суток без единого глотка воды. И начиналась форменная бойня, когда дрались за колодец, или за оросительную канаву, или за фляги убитых и раненых врагов.

Пардейро то и дело прислушивается к пальбе и взрывам на окраинах Кастельетса, стараясь понять, что это может значить. Особенно ожесточенно громыкает на восточной высоте, а это значит, что майор Индурайн – если он жив, конечно, – еще держится, а со стороны западной долетают лишь разрозненные выстрелы. Дурной знак: взяв эту высотку, красные смогут обойти роту по флангу. И в этом случае остается только одно – отступить на три улицы, к зданию кооператива, где Пардейро оборудовал запасную позицию.

– По вашему приказанию...

Это в сопровождении местного мальчишки Тонэта появился капрал Лонжин. И Пардейро слышит именно то, что так боялся услышать:

– Вода на исходе.

Он хмуро кивает, а капрал начинает докладывать. Они с Тонэтом прошли полгорода, обшаривая дом за домом. С помощью какой-то женщины и двух-трех стариков, вылезших из подвалов, удалось собрать штук пять кувшинов и несколько бутылок. Однако цистерны для дождевой воды оказались пусты, а большие глиняные емкости во дворах – разбиты.

– Не считая того, что имеется во флягах у каждого, получается глотка по четыре на человека, не больше.

Лейтенант чувствует, что мир рушится, но внешне остается невозмутим. Путь к реке блокируют красные, а позади имеется только одно озерцо – между городком и скитом Апаресиды. Слишком далеко.

Скрывая растерянность, он смотрит на часы, словно ему это интересно, а потом бросает взгляд поверх баррикады.

– Тем не менее будет у нас что выпить, – добавляет капрал.

Лейтенант с интересом смотрит на них, а Лонжин и Тонэт переглядываются как сообщники. Мальчишка, утерев пальцем грязный нос, улыбается так, будто знает какой-то секрет. Легионер кладет ему руку на плечо:

- Если насчет попить, то кое-что есть. По крайней мере, так уверяет этот сорванец.
- Не понимаю.

Лонжин с грубоватой лаской встряхивает мальчика:

- Ну валяй, выкладывай.
- Винный кооператив, – говорит тот.

Смысл его слов доходит до Пардейро не сразу. Он поднимает брови:

- И там осталось вино?
- Увозить его не увезли.
- И много?

– Целый подвал заставлен здоровенными кувшинами.

– Легкое местное вино, господин младший лейтенант, – говорит Лонжин, отстегивая с пояса флягу. – Вот, с вашего позволения... Разжился в одном доме, и там мне сказали, что такое же делали в кооперативе. Попробуйте, может, понравится.

Фляга полна до краев. Взвесив ее на руке, Пардейро с опаской смотрит на легионера:

- Водой не разводил?
- Помилуйте, как можно, ни капли.
- Ну ладно.

Он подносит горлышко к губам, а капрал и мальчишка не сводят с него внимательных глаз. Вино свежее и прохладное. Крепкое, с немалым градусом. Однако жажду утоляет, а это самое главное. Вытерев губы тыльной стороной ладони, затыкает флягу крышкой, возвращает капралу.

- Кооператив – наш?
- Наш. Стоит на этой улице, за церковью.
- Не знал...
- Да и я тоже. Это карапуз сообразил.

Пардейро проводит ладонью по наголо стриженной голове мальчика, и тот заводит глаза, как щенок от хозяйской ласки.

– Молодец, Тонэт.

– Он просит выдать ему нашу пилотку, – говорит капрал, дотрагиваясь до своей собственной.

Лейтенант кивает:

- Ну выдай, как будет возможность. Заслужил.
- Есть.

Надо полагать, пилотов скоро – и наших, и республиканских – здесь будет в изобилии, думает Пардейро, но вслух не произносит.

– Поставь-ка часового у дверей кооператива и наладь снабжение. Вино надо смешать с водой – сколько ее ни есть у нас, – чтобы вышло побольше.

- А потом?
- А потом видно будет.
- Слушаюсь.

Глядя вслед легионеру и мальчишке, Пардейро возвращается мыслями к своим тактическим схемам: прикидывает сильные и слабые места в линии обороны, распределение сил и средств, пути развертывания. Рано или поздно какое-нибудь подкрепление все же пришлют. Так, по крайней мере, обещал майор Индурайн, уходя на восточную высотку. Однако это «рано или поздно» не дает покоя Пардейро.

Разница меж одним и другим прекраснейшим образом может оказаться тонкой гранью между победой и поражением, между жизнью и смертью.

Еще раз выглянув из-за бруствера, он направляется ко входу в Профсоюз, где его ждут горнист, двое связных и вестовой. Идет во весь рост, не пригибаясь, хоть и знает, что с той сто-

роны площади в любой миг может грянуть выстрел. Стиснув челюсти, весь напряжившись, он старается не ускорять шаги – именно так, по его мнению, должен вести себя офицер Легиона. Через считанные дни ему исполнится двадцать лет; на черной матерчатой плашке, пришитой над левым карманом, он носит одинокую звездочку: «младший лейтенант – на время, покойник – навсегда», острят ветераны. И в этой остроте заключена жестокая правда. Половина гибнет в первом же бою, а Сантьяго Пардейро готовится ко второму. Может быть, думает он, удастся пережить и его и стать ветераном. Вернуться домой, снова увидеть родителей, жить и трудиться в мирной Испании, избавленной от наглого преступного сброда, в Испании, где будут править порядок, труд и справедливость. Где народ вернет себе честь и достоинство, которых лишен ныне.

Прошлой ночью он пытался объяснить это в письме, но бросил на середине и лег спать, не ведая, что его разбудят сообщением о том, что красные начали наступление. Сейчас вдвое сложенный листок лежит у него в нагрудном кармане, ждет, когда его, быть может, допишут, и содержит ответ на вопрос, заданный «военной крестной» – девушкой, которую он видел только на фотографии.

Бесценный друг мой Мария Кристина, дорогая крестная!

В последнем письме ты спрашиваешь, за что я сражаюсь. Почему, не дожидаясь призыва, пошел на фронт добровольцем. Я вырос в скромной семье, принадлежащей к мелкой буржуазии. Отец с немалыми трудами смог основать собственное дело, открыть торговлю в Луго и ценой бесчисленных жертв и усилий поднять четырех детей. Никто у нас в семействе никогда не интересовался политикой, не получал никакой помощи, благ или льгот ни от правых, ни от левых. Мой отец даже никогда не ходил на выборы, уверяя, что все кандидаты – оппортунисты и стоят друг друга. Мне, старшему из братьев, выпала удача и честь получить образование, меня ждала карьера; добившись успеха, я мог бы помогать остальным.

Однако хаотичная и беспорядочная Республика все изменила. Двуличие политиков, разгул бандитизма, безвластие и беззаконие, неграмотная чернь, вдруг получившая право повелевать нами, остервенелая демагогия, левацкие притязания на верховенство, столь же пагубные, как и авторитаризм правых (эти строки пишет человек, рожденный в краю, где об этом явлении знают не понаслышке), – все это в совокупности поставило Испанию на край пропасти. Превратило страну в одного огромного Христа, которого распинают все.

Красные лгут, уверяя, что четверо генералов и банкиров восстали против своего народа. Народ – это я, народ – это моя семья, и мы, как и многие, многие другие, не в силах больше сносить подобную безнаказанность, подобную варварскую жестокость, столь буквальное понижение принципа «кто не с нами – тот против нас». И может ли мужчина при виде того, как оскорбляют его мать или невесту, не заступиться за них? А когда оскорбление наносится Испании врагами, разрушающими ее, то это уже не оскорбление. Это преступление.

«Да здравствует русская Испания!» – горланят эти безответственные негодяи. Нас принуждают занимать чью-то сторону, даже против нашей воли. Нас заставляют выбирать из двух зол меньшее. Противостоять нашим друзьям и братьям, хотя мы по большей части хотим лишь порядка, мира и работы. Это невозможно, когда у всех на устах одно слово – «революция». Даже моего несчастного отца записали в «эксплуататоры трудового народа» за то, что он имел свое скромное дело. А я, обычный, простой студент, выходец из семьи, где все работали, прекрасно помню, как однажды, когда я вышел из трамвая, какие-то работяги обругали меня за то, что я был при галстук! «Да мы тебя, захребетника, повесим на нем, сволочь буржуйская», – орали они, упиваясь торжеством победителей, наконец-то взявших реванш. Так что, когда военные восстали, чтобы положить конец всему этому бесчинству, у нас, у порядочных людей, просто не оставалось другого выхода, как...

Юный офицер оборвал на этом месте письмо, которое сейчас лежит у него в кармане, – и бог весть, успеет ли его дописать. В этот миг, словно в ответ на его вопрос, не предупредив о своем появлении гулом или свистом, на площади возле баррикады разрывается снаряд: взлетают в воздух осколки камней, сыплется град стальных и каменных осколков.

Пардейро, застигнутый грохотом врасплох, инстинктивно пригибается и видит, как в воротах его солдаты бросаются на землю плашмя, не хуже Саморы¹⁹.

Миномет, понимает он. Небольшого калибра – не больше 50 мм. Мина, пущенная по очень крутой дуге, упала сверху: оттого и не слышно было, как она летит. Близкий недолет – всего метров пятнадцать-двадцать, и можно не сомневаться, что сейчас огонь скорректируют.

И не успела еще осесть пыль, как с той стороны слышится характерное – звук такой, словно палкой колотят по жести, его ни с чем не спутаешь – захлебывающееся тарактенье, подхваченное многократным эхом: два русских «максима» открыли огонь по колокольне. Бьют короткими очередями, прицельно и точно: пули шелкают по стенам и, потеряв силу, падают вместе с кирпичной крошкой.

Пардейро кричит горнисту и посыльным, которые так и лежат на земле, чтобы готовили людей к бою. Красные с минуты на минуту ринутся через площадь.

На окраине Кастельетса, в здании Аринеры, где развернут командный пункт XI сводной бригады, кипит работа. Офицеры сверяются с картами, отдают приказы, беспрестанно входят и выходят вооруженные люди, снуют связные с донесениями.

Под нетерпеливым взглядом сержанта Экспосито Пато Монсон, став на колени, возится с проводом полевого телефона НК-33. Доложив начальству о том, что происходит на кладбище и на восточной высоте, она наконец-то присоединилась к своим товаркам из взвода связи, которые тянут кабели, ставят антенны и, как усердные пауки, ткнут сеть, чтобы связать штаб с передовыми отрядами республиканцев и с арьергардом на другом берегу Эбро.

– Ну как? – спрашивает сержант.

– Пока никак.

– Надо хотя бы телефоны наладить, потому что Эр-Эр не работает, – сердито бросает Экспосито.

Пато смотрит на нее удивленно. Эр-Эр – это тринадцатикилограммовая рация «Филиппс», работающая на ультракоротких волнах, незаменимая вещь для связи с другим берегом. Такая во взводе одна.

– Да ведь она совсем новая. Аккумуляторы заряжены – два дня назад мы проверяли.

– Тем не менее. Так что сейчас вся надежда на проводную связь. Уж постарайся.

Перед Пато стоит полевой телефон в бакелитовом ящике: она проворно вертит рычажок, проверяя соединение, дует в микрофон, нажимает клавишу, снова дует. Телефонный кабель, идущий вдоль понтонного моста через реку, связывает КП бригады с шестиорудийной батареей 105-миллиметровых орудий на левом берегу.

– Ну что? – наседает сержант.

Пато, занятая своим делом, не отвечает. Снова и снова вертит ручку, нажимает, дует, слушает. Лейтенант Харпо, поминутно поглядывая на часы, большими шагами ходит туда-сюда между ними и столом под брезентовым навесом, где Валенсианка и еще одна девушка налаживают 10-линейный полевой телефон, центр связи всей бригады.

В наушниках у Пато слышны только треск разрядов и какие-то шорохи. Но вот раздается далекий голос:

– Я – «Вертисе-Кампа».

¹⁹ *Рикардо Мартинес Самора* (1901–1978) – знаменитый вратарь, признанный лучшим в истории испанского футбола.

Это – кодовое обозначение артиллерийской батареи. Пато утирает пот со лба, поднимает глаза на Экспосито:

– Связь установлена.

Сержант вырывает у нее из руки трубку, слушает, потом оборачивается к Харпо, чтобы доложить: оба берега Эбро теперь соединены. лейтенант, вздохнув с облегчением, бежит обрадовать начальство и тотчас возвращается с тремя офицерами: это командир бригады Фаустино Ланда, всего недели две назад произведенный в подполковники, его заместитель майор Антонио Карбонелль и комиссар – одни зовут его Рикардо, другие – Русо, отчасти еще и потому, что, по слухам, он русский и есть.

– Сейчас проверим, – говорит Ланда.

И, вынув изо рта наполовину выкуренную сигару, берет головной телефон. Прижимая наушник, обменивается несколькими словами с артиллеристами на другом берегу и удовлетворенно возвращает гарнитуру:

– Батарея почти готова к бою... Через полтора часа получим огневую поддержку. А может, и раньше.

Майор показывает на восточную часть Кастельетса, откуда по-прежнему, то усиливаясь, то почти замирая, доносится ружейная стрельба.

– Это будет очень кстати 4-му батальону, а то он все топчется у этой высоты.

– Еще бы... Лишь бы только накрыли фашистов... – Ланда говорит это мимоходом, попыхая сигарой, – а не наших, как за пушкарями водится.

– Да уж... Это будет не в первый раз.

Подполковник кривит губы в саркастической усмешке. У этого сорокалетнего кряжистого офицера руки рабочего и глаза пирата. Астуриец из Хихона, не столько республиканец, сколько коммунист, как почти все командиры и комиссары армии, стоящей у Эбро, некогда билетер в кинотеатре, Фаустино Ланда едва не со дня основания примкнул к союзу социалистической молодежи Сантьяго Каррильо²⁰ и в партию перешел вместе с его сторонниками. Человек ловкий и хваткий, ценитель и знаток хорошей кухни, о котором злые языки говорят, что он мало смыслит в военном деле и слишком любит, когда о нем пишут в газетах, он тем не менее пользуется полным доверием Листера и Модесто²¹. Принадлежит к тому разряду людей, которые не лезут на рожон, сами стараются не впутываться в интриги и выпутаться из них никому не помогают. По природе своей склонен скорее к обороне, чем к наступлению.

– И не в последний, – соглашается он. – Лучше уж попасть под вражеский огонь, нежели под дружественный.

Улыбаются все, кроме Рикардо, или Русо. Пато не нравится этот человек с жидкими белокурыми волосами и рыбьими глазами за дымчатыми стеклами очков в стальной оправе, особенно если вспомнить, что о нем говорят втихомолку. Рассказывают, что Русо, отличившийся и выдвинувшийся при разгроме троцкистов из ПОУМ, сгубил народу больше, чем сыпной тиф, что сам он человек культурный, много поездивший по свету, и приказать, чтобы тебя расстреляли, может на четырех или пяти языках. Судя по всему, к его мнению прислушиваются в Барселоне и в Валенсии, и благодаря прочным связям в Совете общественного порядка он человек влиятельный и опасный. С командиром бригады они близко не сошлись, да и немудрено: один жизнерадостен и, можно сказать, почти легкомыслен, другой – мрачен и неприветлив.

– Измена. Измена повсюду, – замечает он желчно. – Даже среди наших артиллеристов.

Он произносит испанские слова так чисто, что Пато не верится, будто это не родной ему язык. В тот же миг Фаустино Ланда подмигивает остальным и качает головой:

²⁰ Сантьяго Каррильо Соларес (1915–2012) – видный деятель компартии Испании, сооснователь союза социалистической молодежи, один из лидеров Республики.

²¹ Хуан Модесто (Хуан Гильото Леон, 1909–1969) – выдающийся республиканский командир, создатель Пятого полка.

– Какая, к черту, измена... Стрелять не научились, вот и вся измена. Хорошо еще, что и у франкистов служат такие же пентюхи.

– Ты ставишь нас на одну доску с фашистами? – поворачивается к нему комиссар.

– Я дурака валяю, Рикардо. Шучу. Так что не трудись заносить мои слова в свою знаменитую книжицу.

С этими словами командир бригады сует в рот сигару, поднимает лицо к небу и прислушивается, как охотничий пес, почуявший добычу. На востоке и в центре Кастельетса продолжается стрельба, на западе царит умиротворяющая тишина. Он снова задумчиво попыхивает сигарой. Раз – и другой. Потом оборачивается к лейтенанту Харпо:

– В первую голову надо будет обеспечить связь с Лолой... Ну ты слышал – Лола и Пепе, восточная высота и западная. Привыкайте к этим кличкам.

– Мою жену зовут Лолой, – замечает майор Карбонелль.

– Тем более надо поскорее взять ее.

Все смеются. Шуточки Ланды неизменно встречают смехом, и особенно усердно – его заместитель Карбонелль: он, как бывший офицер, в 1936 году носивший звание лейтенанта интендантской службы, очень старается, чтобы об этом забыли. Пато отмечает, что не смеется только Русо.

– Отправьте людей на эту самую Лолу, – приказывает подполковник. – Пусть протянут надежную связь.

– Слушаюсь, – отвечает Харпо.

Начальство уходит. Пато, выпрямившись, ловит на себе взгляды лейтенанта и Экспосито. Вот и старайся после этого, думает она. Грузят на того, кто везет. Настоящая «прислуга за все».

– Одна пойдешь или дать тебе в помощь кого-нибудь? – спрашивает Харпо.

– Разумеется, дать.

На самом деле выбор верный: ей самой хочется отправиться туда, взглянуть вблизи, что там делается. До сих пор первый бой кажется ей увлекательным приключением. Пато чувствует себя отважной и полезной частицей общего дела. Общих усилий, общего героизма, общей борьбы.

– Возьмешь два телефона, два больших мотка провода и катушку. Склон там, по всему видать, скалистый, так что на последнем отрезке линию лучше будет продублировать. Ясно?

– Ясней некуда.

– Имей в виду, навьючены будете, как мулы, – ничего?

– Справимся как-нибудь.

– Доберетесь до места – обратитесь к командиру батальона капитану Баскуньяне или к комиссару Кабрере. Запомнила имена?

– Запомнила.

– Держись сосняка, он прикроет от огня, но в сторону не отклоняйся. И провод не слишком натягивай, однако все же экономь его.

– Скольких тебе дать? – спрашивает сержант.

Пато показывает на Висенте Эспи, которая продолжает колдовать над полевым коммутатором.

– Валенсианку и еще кого-нибудь.

Оглянувшись через плечо, Экспосито кивает:

– Марго подойдет?

– Вполне.

– Ну тогда отправляйся, товарищ. Время поджидает.

Метрах в пятнадцати над землей рвется шрапнель, раскидывая облачка белого дыма и острые осколки. Латунные оболочки зловеще парят в воздухе, открываясь и выпуская наружу

свой серебристый груз, и шрапнель басовито свистит меж сосен, иногда градом ударяет в их стволы, дробит камни, разбрасывая крошку. Голые скалы – плохая защита от осколков, а почва на склоне твердая, и потому солдаты касками и штыками скребут неподатливую землю, стараясь зарыться поглубже.

Лежа в двух шагах от мавра и еще нескольких солдат своего батальона, которых едва видно из-за брустверов, – они приподнимаются над ними, лишь чтобы выстрелить, – Хинес Горгель трет покрасневшие, воспаленные глаза, отводит назад затвор своего карабина, вставляет обойму, возвращает затвор на место, досылая патрон: руки у него дрожат, движения неловки и суматошны, как бывает, когда знаешь, что от этого зависит твоя жизнь.

Клак-клак-клак, лязгает сталь.

Он проделывает это в пятый раз, то есть выпустил уже двадцать пуль по синим, зеленовато-серым, коричневым фигуркам, упорно карабкающимся из сосновой рощи вверх по склону восточной высоты.

Сейчас будет двадцать первая пуля, соображает он. Ствол маузера раскалился. Наступая на раскиданные повсюду стреляные гильзы, Горгель чуть высовывается из-за скалы, прикрывающей его. Потом приникает влажной от пота щекой к прикладу и ловит мушкой тех, кто поближе, – они несутся скачками, перебегают, прячутся за кустами и голыми валунами. До них уже метров тридцать-сорок, и Горгель берет на прицел того, кто размахивает руками.

Бей прежде всего тех, кто руками машет, наставляет его раненный в обе ноги сержант, который с пистолетом и гранатой лежит чуть позади, готовый всадить пулю меж глаз всякому, кто попробует удрать. Это наверняка какой-нибудь командир или комиссар. Хлопнешь такого – остальные призадумаются.

Хинес Горгель нажал на спуск, и отдача снова толкает его прикладом в и без того уже ноющее плечо. Пам! – влетается выстрел в грохот пальбы вокруг.

Люди впереди исчезают из виду, когда пуля, ударив в скалы, поднимает струйку пыли. Мимо. Не повезло.

Горгель косится на сержанта, привалившегося позади спиной к валуну, и торопливо передергивает затвор. Клак-клак-клак. Двадцать две. Остается тридцать девять патронов, если боеприпасов не подвезут.

Бывшего плотника гнетут не только тоска и страх, но и настоящее отчаяние – бесконечное, беспросветное, всепоглощающее. Отчаяние зверя, угодившего в капкан. Думай не думай, но невозможно поверить, что сколько ни бегал он – даже ноги сводит судорогами, – а из этого проклятого места так и не убежал. И ведет уже третий бой. Как говаривал покойный отец: «Силком потащат – ненароком и удушат». И Хинес Горгель даже чувствует, как петля захлестывает ему горло.

Чтоб они, мать их так, пропали, легионеры эти, думает он безнадежно. Если бы не они, он сейчас уже был бы где-нибудь в Вильядиего или еще где подальше.

– Эй ты! Иди сюда. Кому говорят?

Горгель, полуоглохший от стрельбы и от гулкого стука крови в висках, не сразу слышит, что это кричат ему. Потом, обрадовавшись, что можно наконец покинуть укрытие, потому что пули теперь стригут воздух высоко над головой, одолевает, пригнувшись, пять шагов, отделяющих его от сержанта.

– Стяни-ка потуже, я сам не могу.

Сержанту *регуларес* полчаса назад, когда красные подобрались близко и стали бросать гранаты, осколками задело обе ноги. Левую – меньше: там мелкие и на вид несерьезные ранки в уже подсохшей крови, а вот правая, как раз под коленом, сильно рассечена, и из-под самодельной повязки обильно сочится кровь.

– А йоду у тебя, случайно, нет? – спрашивает сержант.

– Да откуда же?

– Жалко. К утру нагноится, как пить дать.

Хотя сержант ремнем перетянул ногу выше колена, ярко-красная, поблескивающая на солнце кровь течет, пусть и медленно, однако непрерывно, и уже пропитала штанину до самого сапога.

– Больно? – глупо спрашивает Горгель, только чтобы что-нибудь сказать.

– А то нет! Стяни потуже, а то, сдастся мне, хлещет как из крана. И отгони ты этих паскудных мух.

Горгель, отложив маузер, делает, что сказано. Сержант не может сдерживать стон, когда ремень туго впивается в тело. Положив пистолет – это длинноствольная «астра-9» – себе на живот, он до скрипа стискивает зубы.

Горгель в меру своего умения закрепляет ремень, вытирает выпачканные кровью пальцы о штаны.

– Надо бы вас как-то убрать отсюда.

– Ага, сейчас приедет карета «скорой помощи» с сестричкой, чтоб за руку держала, – сержант трет нос. – Голову не морочь.

Они молча смотрят друг на друга. Сержант – седой и курчавый, остролицый, длинноносый – бледен от потери крови, но держится бодро. По закопченным, грязным щекам текут ручейки пота. Как и у всех вокруг, на лице у него двухдневная щетина, хриплый от жажды голос. Единственный колодец – далеко, и солдаты, которые с флягами ходят за водой, пропадают надолго.

– Как вам это видится, сержант?

– Мне отсюда ни хрена не видится.

Горгель показывает на солдат, которые пригибаются, выпрямляются, стреляют, на раненых, которые ползут по земле, ища укрытия, на убитых, которые лежат там, где их настигла смерть. Боеспособных наберется едва ли сотня: остатки мавританского *табора* и пехотного батальона, перебитых ночью, и взвод легионеров, на рассвете подошедший им на выручку.

– Я имел в виду – сколько мы еще продержимся?

Сержант пожимает плечами:

– Боеприпас кое-какой еще имеется, легионеры принесли, и вот это тоже есть, – он показывает на две гранаты, лежащие у его ног.

– А люди?

Сержант дотрагивается до своего пистолета:

– Точно не скажу. Но одно могу пообещать: пока я здесь и еще не истек кровью, и ты, и все, кто поблизости, будете стрелять по красным. Никто не смеется. Это ясно?

– Вполне.

– Тогда ступай на свое место.

Хинес Горгель – делать нечего – повинуется. Но когда, собираясь идти, уже поднимает с земли свой маузер, сержант цепко хватает его за руку:

– Слушай-ка... Ты видел майора Индурайна?

– Видел, но уже довольно давно. Когда красные подошли совсем близко, он стоял во весь рост и ободрял наших. А потом я потерял его из виду.

Сержант с трудом приподнимается, чтобы посмотреть, что делается. Горгель помогает ему:

– Может, его и пришили...

– Нечего рассуждать. Давай на свое место.

Горгель не двигается. По-прежнему сидит, скорчившись и опираясь о карабин.

– Что все-таки происходит, сержант?

Поколебавшись немного, тот пожимает плечами:

– А то, что краснопузые нагрянули ночью и застигли нас врасплох. Но мы все же успели повскакать, занять оборону, и кость эта оказалась им не по зубам, – он мотает головой влево, в сторону Кастельетса. – И, судя по тому, что я слышу время от времени, там, внизу, пока все то же самое.

– Подмога-то придет?

– Не сомневайся. Ты же видел, как наши самолеты крошили эту марксистскую сволоочь. Это вопрос нескольких часов. Надо продержаться еще немного.

– Ну, раз вы так говорите, то, конечно...

Сержант отмахивается от мух, кружащих над раной. Потом двумя пальцами постукивает по рукоятке пистолета:

– Да, я *так* говорю. Так и никак иначе. А ты давай на свое место.

Хинес Горгель, пригибаясь, возвращается в своей выемке в скале, там осторожно выпрямляется во весь рот, выставив перед собой винтовку. Впечатление такое, что красные малость сникли: постреливают лишь изредка, вперед не лезут, а наоборот – видно, как кое-кто, прячась за кусты и валуны, спускается сам и уволакивает раненых под защиту сосен. Неподвижные тела раскиданы в двадцати шагах от гребня высоты – здесь захлебнулось наступление республиканцев.

Мавр, лежащий справа от Горгеля, тоже высовывает голову из укрытия, смотрит на соседа, а тот на него: под грязной феской с капральской нашивкой – изрезанное ранними морщинами небритое смуглое лицо с сединой в усах. На вид ему лет тридцать с лишним, и дались они ему, по всему судя, непросто.

– Будь у нас шайтан-ружье эта, ни один бы не ушел, – говорит он с видом знатока.

– Шайтан-ружье?

– Ну, машинка, которая строчит без умолку, – мавр сгибает указательный палец, словно нажимая на гашетку. – Пумелет.

– А-а.

Мавр привстает еще немного, очень внимательно всматриваясь в склон высоты.

– Обделались и откатились. Видишь ты?

– Вижу.

– Красный зболочь очень наглый стал. В бога не верят.

– И в черта тоже.

– Видишь – вон двое лежат? Не хочешь обшарить или есть у них что?

– Я? Я с ума не сошел пока.

– Ладно, земляк, сползаю сам, – мавр очень осторожно кладет винтовку на камни, показывает на нее Горгелю. – Гляди за ружьей моей в оба.

– Дождись лучше, когда стемнеет. Видишь, солнце уже низко.

– Не беспокойся, я знаю, как делать. Посмотрю и, бог даст, вернусь.

– А вдруг не даст?

– Не трусь, земляк.

С этими словами мавр берет в одну руку мачете, в другую – гранату и ползком скрывается в кустах. Горгель с интересом провожает его глазами, держит маузер наготове, чтобы в случае чего прикрыть его огнем. Но стрельба стихла, склон опустел – республиканцы отступили в сосняк.

– А этот сукин сын где? – раздается за спиной голос сержанта.

– Пошел взглянуть на трупы красных, – не оборачиваясь, отвечает Горгель.

– До чего ж эти арабы охочи до добычи... А этот – особенно.

– Вы его знаете?

– Конечно знаю. Капрал Селиман из моего взвода. Вечно ему нейметса.

Через десять минут мавр возвращается – также ползком. Улыбаясь от уха до уха, он с торжеством показывает Горгелю трофеи – золотые кольцо и два окровавленных зуба, наручные часы, два бумажника с республиканскими песетами, два патронташа, банку консервированного тунца в масле и почти полную, хоть и мятую пачку «Голуаз».

– Купи вот французские сигареты, земляк, – говорит он, протягивая одну Горгелю. – Дрянные, дешевые. За пять песет всего.

Пато Монсон, сгибаясь под тяжестью ящика с катушкой, входит в смолистый полумрак сосновой рощи, меж тем как две ее напарницы с полевыми телефонами прокладывают по земле провод. Мы словно пауки, думает она, вытягивающие из своего нутра нити паутины. Выше по склону, скрытому за деревьями, на высоте под названием «Лола», уже не слышно стрельбы и разрывов гранат. Безмолвие было бы совсем полным, если бы из Кастельетса не доносился отдаленный шум боя.

– Вроде бы выбили их, – говорит Валенсианка, заваливая провод камнями и ветками.

– Нет, не похоже, – отвечает Марго, работающая рядом с ней. – Погляди-ка на этих.

И показывает на бойцов 4-го батальона, вразброд шагающих меж сосен, – они мало похожи на победителей. Кое у кого на шее – красно-черные косынки Федерации анархистов Испании. Лица у всех мокры от пота, одежда выпачкана землей. Идут они медленно, едва переставляя ноги, как после сверхчеловеческих усилий, и будто сами не знают куда. Идут вроде бы вместе, но держатся отчужденно, не разговаривают друг с другом, и вид у них отсутствующий. Они опускаются, а вернее, падают куда попало на землю, неверными пальцами сворачивают самокрутки, кладут головы на корни деревьев или на свои вещмешки, закрывают глаза, как будто хотят заснуть.

Это – лицо поражения, содрогнувшись, думает Пато. Она видит такое впервые.

Несколько шагов вперед, несколько метров провода – и появляются раненые. Это зрелище еще страшней.

«Господи, помилуй», – едва не срывается с уст девушки по старой привычке – дает себя знать детство в монастырской школе, – но Пато вовремя спохватывается. Одни идут сами – еле-еле тащатся, ковыляют, хромают, поддерживая друг друга, других несут на носилках или на одеялах. Свежие раны еще кровоточат, они открыты или наспех перевязаны чем пришлось. Бойцы собираются на прогалине меж сосен, где фельдшер и несколько санитаров сортируют раненых – обходят десяток распростертых на земле тел, то и дело опускаются перед ними на колени.

Вот то одного, то другого поднимают и уносят к реке. Над прогалиной стоит многоголосый стон – протяжный, нескончаемый, замогильный, порой прорезаемый криком боли или предсмертным хрипом.

Пато снимает с себя ящик с катушкой, укрывает его меж двух толстых стволов. Валенсианка и Марго испуганно смотрят на нее. Они тоже явно не ожидали увидеть такое зрелище. Ничего общего с фотографиями из «Мундо графика» или других иллюстрированных журналов. Или с выпусками кинохроники.

– Оставайтесь тут, подключите телефон. Пойду поищу кого-нибудь из начальства.

Пато идет навстречу солдатам, спускающимся по склону.

– Капитана Баскуньяну не видали? А комиссара Кабреру?

Одни смотрят на нее с любопытством, другие – безразлично. Многие пожимают плечами. Смолистый воздух сосновой рощи теперь пропитан кисловатым едким запахом земли и грязной одежды. Запах страха, крови, блевотины.

– Глади-ка... – удивленно говорит кто-то. – Баба!

– Мне вот сейчас не до баб, – отвечает ему сосед. – Пусть хоть сама Антоньита Коломе²² сюда заявится.

Еще несколько шагов вперед – и в выемке скалы, образующей неглубокую пещерку, Пато находит наконец командование батальона. Офицеры сидят на земле перед развернутой картой, и время от времени кто-нибудь показывает на высоту, склон которой начинается невдалеке, меж деревьев. Под стать небритым, закопченным от пороха лицам и одежда – грязная, мятая, рваная: синие комбинезоны, рубашки с засученными рукавами, гражданское платье; на головах – фуражки, береты, пилотки.

Пато, приблизившись, вскидывает к виску сжатый кулак:

– Салют. Рядовая Монсон из взвода связи.

Все поднимают на нее глаза. Один из командиров – в синей морской фуражке и с усами, подстриженными а-ля Кларк Гейбл, – вздыхает с облегчением, хлопает себя по колену:

– Наконец-то! Телефон принесла?

Пато смотрит на красную звезду над тремя «шпалами», вышитыми над левым карманом его выцветшей ковбойки.

– Принесли, товарищ капитан. Даже два: один – запасной.

– Молодец!

– Какой предпочитаете – русский или немецкий?

– Что, можно выбрать? – весело спрашивает офицер.

– Можно.

– В таком случае давай русский – его хвалят.

Пато улыбается:

– Значит, «Зарю»?

– Красную?

– Разумеется. Какую ж еще?

Пато присоединяется к общему смеху. Капитан показывает на своих товарищей:

– Меня зовут Баскуньяна. А это – капитан Бош, капитан Контрерас и лейтенант Патиньо.

Девушка снова подносит к виску сжатый кулак:

– Очень приятно. А где же ваш комиссар Кабрера?

Улыбки на лицах гаснут; офицеры, внезапно посерьезнев, переглядываются. Командир кривит губы в какой-то двусмысленной гримасе:

– Убили комиссара на высотке.

– Ой... Как жалко-то...

Снова быстрый обмен взглядами. Новая гримаса на лице Баскуньяны.

– Не всем его жалко, – загадочно отвечает он. И с явным усилием поднимается. – Ну что, связь-то есть?

– Провод проложили, аппаратура наша тут поблизости.

Капитан улыбается. Фуражку он носит набекрень, с особой лихостью сдвинув на правую бровь. На поясе висит пистолет «стар-синдикалист». Баскуньяна хорош собой. Руки у него тонкие, изящные, явно не пролетарские. На вид – лет тридцати с небольшим. Осунувшееся, утомленное, но привлекательное лицо. Печальные глаза и детская улыбка.

– И можем соединиться?

– Как только подключим.

– Замечательно.

Капитан рассматривает ее с нескрываемым интересом. И, судя по всему, впечатление более чем благоприятное.

– Ты останешься при батальоне?

²² Антоньита Коломе (1912–2005) – испанская кинозвезда 1930–1940-х годов.

- Пока не удостоверюсь, что связь исправна.
- Жаль.

В этот миг где-то наверху слышится душераздирающий стонущий звук – как будто испанским ножом рассекли небосвод. Все, включая Пато и капитана, инстинктивно пригибаются. Еще через мгновение со склона высоты доносится оглушительный грохот. Сквозь ветви сосен виден столб дыма и пыли.

- Наши 105-е сработали, – говорит кто-то.
- Очень вовремя, – отвечает другой голос. – Лучше бы врезали до атаки, а не после.

Однако все рады, что своя артиллерия заняла наконец позиции на другом берегу реки и открыла огонь. Это значит, что положение изменится. Что республиканская пехота получила долгожданную огневую поддержку и сумеет смять франкистов. Это живо обсуждается.

- Теперь те, кто засел наверху, побегут как зайцы.
- Посмотрим.
- Ручаюсь тебе!

Снова – треск раздираемого полотна, и вслед за тем – грохот разрыва на вершине высоты. Полминуты спустя – новый выстрел. Снаряд на этот раз ложится почти у самого подножия, и все снова пригибаются, потому что взлетевшие в воздух камни, земля и сосновые щепки падают слишком близко.

– Вот только этого нам и не хватало, – замечает капитан Баскуньяна. – Еще один недолет – мало нам не будет.

– Товарищ, их же можно предупредить, – вмешивается Пато. – Мы же установили связь с КП. Оттуда могут передать на батарею и скорректировать огонь.

Капитан кивает:

- Где твой телефон?
- Десять минут ходу.

– Ну пошли тогда, – командир батальона оборачивается к одному из своих офицеров. – Бош, останешься за меня, следи за ними, – он показывает на нескольких солдат, которые по-прежнему лежат у края сосновой рощи, наблюдая за склоном. – Подгони-ка этих поближе, пока не накрыло.

- Слушаюсь.

Солнце золотит небосвод за гребнем западной высоты, где сейчас стихла стрельба; первые длинные тени покрывают развороченные подъезды и узкие улочки Кастельетса, на которые весь день сыпались битое стекло, обломки черепицы, кирпичная крошка.

Прижавшись к углу дома – там «мертвая зона», – прикрываясь автомобилем без колес и сидений, который стал теперь просто грудой издырявленного пулями, замысловато изогнутого металла, Хулиан Панисо с сигаретой во рту, с автоматом за спиной, с косынкой, обвязанной вокруг головы, чтобы пот не заливал глаза, готовится взорвать стену, сложенную из кирпича и камня, – закладывает в большую жестянку из-под галет «Чикилин» четыре пятисотграммовых брикета тротила, детонатор, полутораметровый бикфордов шнур, рассчитанный на медленное горение, и на всякий случай – еще один.

– Поторапливайся! – шипит Ольмос, который сидит на корточках в трех шагах от него с автоматом наготове, чтобы отбиваться от франкистов, если те вдруг заметят взрывников.

– Тише едешь – дальше будешь, – отвечает Панисо, не отрываясь от своего дела. – Я и так тороплюсь.

- Засекут – фрикасе из нас сготовят.
 - Помолчи, а... Не мешай работать.
- Ольмос, не поднимаясь, подбирается ближе:
- Работает он... Давай подсоблю.

Панисо отмахивается от него, как от докучной мухи:

– Уйди, сказано.

За стеной этого дома, прежде принадлежавшего Синдикату трудящихся, вот уже несколько часов отчаянно обороняются засевшие там наемники-легионеры. Все попытки выбить их оттуда провалились – прежде всего потому, что пулемет на колокольне держит под огнем площадь и главную улицу Кастельетса. Неимоверными усилиями и большой кровью республиканцы сумели все же пробиться в эту часть городка и укрепиться в одном из зданий, примыкающих к Синдикату. И ночью, просочившись через соседние дома, попытаются выкурить оттуда франкистов.

– Ну что, идет?

– Ты заткнешься или нет?

Ольмос сквозь зубы начинает напевать «Молодую гвардию»²³, меж тем как Панисо продолжает снаряжать взрывное устройство, вставляя в пазы запальные шнуры, – девятнадцать лет кряду совершал он эти механические движения в сырой темноте шахты, где зарабатывал на хлеб себе, жене, четверым детям и отцу с легкими, съеденными силикозом. Той самой шахты, куда, узнав о фашистском мятеже, он вместе с товарищами-шахтерами – был среди них и Ольмос – сбросил трупы управляющего и двух десятников, убитых ударами кирок, а потом – приходского священника (алькальд, состоявший в СЭДА²⁴, успел удрать) и сержанта Гражданской гвардии по фамилии Пенья, пытавшего брата Ольмоса во время шахтерской забастовки 1934 года. Падре перед смертью молился, другие плакали, а вот сержант держался молодцом – покрыл своих палачей отборной бранью и плюнул им в лицо. И Панисо, отдавая ему должное, нелестно признал, что Пенья этот – хоть и мразь редкостная, но не трус.

Затянувшись сигаретой – пепел падает на пачки тротила, – Панисо подсоединяет шнуры и, поглядев по сторонам, протягивает их вдоль стены, чтобы, когда задымят, не бросались в глаза и франкисты не успели потушить их. Гореть шнуры будут три с половиной минуты – это и много, и мало: зависит от того, откуда смотришь.

– Приговор вынесен, ждем оглашения.

– Наконец-то.

– Следующий раз сам будешь делать, зануда.

– Да уж сделаю – и получше тебя.

Подрывник неторопливо прижимает горящий окурок к концу шнура – сперва одного, потом другого.

– Поехали в Пенхамо²⁵.

Шипит и дымится порох, а напарники удаляются на корточках, как гуси. Стрельба к этому времени уже немного стихла, и только через равные промежутки времени из церкви и соседнего дома по площади и главной улице бьют пулеметы. Весь вечер, каждые четверть часа, как по хронометру, на позиции франкистов прилетала мина, но сейчас обстрел прекращен, потому что республиканская пехота придвинулась чуть ли не вплотную.

– Вот идет Маноло, – произносит Панисо, оборвав отсчет.

И с этими словами падает ничком, зажимается, обхватывает ладонями затылок, открывает рот, чтобы от взрывной волны не лопнули барабанные перепонки. Рядом валится Ольмос.

Звучит оглушительное «пу-у-м-ба».

²³ «Молодая гвардия» (исп. La Joven Guardia) – официальный гимн молодежного отделения компартии Испании.

²⁴ СЭДА (La Confederación Española de Derechas Autónomas) – Испанская конфедерация правых автономных организаций, объединение политических партий Испании, основанное в 1933 году и состоявшее большей частью из правых католических и монархических организаций.

²⁵ Строчка из популярной в 1930-е годы песни Педро Инфанте (1917–1957), легендарного мексиканского певца.

Да уж, Маноло пришел так пришел. От глухого эха двойного взрыва, пронесшегося по улице вдоль домов, вздрагивает земля, вылетают стекла в окнах, сотрясаются уцелевшие стены, над которыми, перемешиваясь с едким черным дымом, поднимаются тучи цементной пыли.

– Там кто-то есть, – говорит Ольмос.

И правда – через огромный пролом во взорванной стене несется длительный вопль, который человек может исторгнуть, лишь когда нестерпимо страдает его израненное, изувеченное тело. Кто-то, накрытый взрывом, не погиб сразу и, на свою беду, жив до сих пор.

– Легионеры, – удовлетворенно говорит Панисо. – Так им, сволочам, и надо.

– Верно.

Вопль длится почти полминуты не прерываясь, словно тот, кто испускает его, вложил в него последние свои силы, отдал ему весь запас воздуха в легких. Но вот его заглушают разрывы гранат, которые республиканские саперы, рванувшись вперед в еще не рассеявшемся дыму, швыряют в широченную брешь, чтобы потом пробраться через нее и полить все автоматными очередями.

Пато Монсон и капитан Баскуньяна проходят под деревьями, глядя сквозь ветви сосен, как клонящееся к закату солнце окрашивает край небосклона красным. Солдаты, вразброд, поодиночке пришедшие сюда, теперь собираются кучками и лежат или сидят на земле.

– Не горюйте, ребята, – говорит им капитан. – Вы сделали что могли. В следующий раз сделаете лучше.

Кое-кто приветствует командира, вскидывая к виску сжатый кулак. Другие смотрят молча и безучастно.

– У нас теперь есть артиллерия... В следующий раз выйдет удачней.

Кажется, они не очень-то рвутся на новый штурм, думает Пато. Но вслух не произносит ни слова.

Баскуньяна, кажется, читает ее мысли.

– Они и вправду сделали все, что могли, – как бы оправдывая своих людей, говорит он. – Им приказали подняться на вершину – они поднялись. Без огневой поддержки, без прикрытия с воздуха. А минометы недотягивали. Всей защиты – валуны да кустарник.

Сделав еще несколько шагов, он пожимает плечами, кивает, будто отвечая самому себе:

– Да, сделали что могли.

Пато идет рядом, ловит каждое его слово. Еще с прошлой ночи, когда война вдруг явила ей всю свою неприглядную суть и показала, как люди истребляют друг друга, новые открытия следуют одно за другим. То, что она увидела, сильно отличается от фашистских бомбардировок Мадрида, как бы чудовищны ни были они, и от того, что представлялось ей в тылу.

– Как много тут совсем молодых... – удивляется она.

– Да уж... Неполные три недели обучения... Не знают даже азов тактики. Спросишь, как они тут оказались, ответят: «Меня и еще десятка два парней из нашей деревни посадили в грузовик и повезли».

Сняв фуражку, он вытирает пот со лба:

– Прежде чем поднять их в атаку, политкомиссар произнес пламенную речь, которая кончалась так: «Видите вон ту высоту? Она нужна Республике». А знаешь, что ему ответил один? «Ну, раз ей нужно, пусть бы сама и отбивала».

– И что же сказал на это комиссар?

– Не комиссар, а я. «Дубина, ты и есть Республика».

Он замолкает на миг, улыбаясь задумчиво и печально, и договаривает:

– Но что же поделывать, если других у нас нет.

– А встречаются и почти старики, – продолжает Пато. – Здесь все – добровольцы?

– Нет, не все. Те, про кого ты говоришь, – резервисты, от сорока и старше. А остальные – с бору, что называется, по сосенке... Этот батальон комплектовали два месяца. Солдат ведь не просто приложение к винтовке и полусотне патронов. Солдатами не рождаются, а становятся, и далеко не все успевают.

Огибая деревья, они по-прежнему идут по сосняку. Иногда чуть соприкасаются плечами, и Пато ощущает запах земли и пота, исходящий от ее спутника.

– Вот потому я и говорю – они сделали все, что могли. И больше, чем можно было ждать. Прыгнули, можно сказать, выше головы. Еще хорошо, что повезло с офицерами: Бош и другие дело свое знают.

– И вы все, наверно, члены партии?

Улыбка на лице капитана обозначается ясней.

– Не все.

Под взглядом Пато он делает еще несколько шагов в молчании – и не переставая улыбаться.

– Я служил в Картахене, в морской пехоте. Был сержантом. И одним из тех, кто остался верен... Знаешь, о чем я говорю?

– Знаю, конечно. И таких, кажется, было немного.

– Нашлись все же некоторые... В основном унтер-офицеры. А я поначалу пошел в Мадрид с колонной Дель-Росаль и был там кем-то вроде военспеца. Сущий кошмар: кого там только не было – каменщики, водопроводчики, конторщики, железнодорожники, студенты с таким избытком жизненных сил, что не жалко было малость и растратить... Ребята отважные, но в военном деле – полные олухи. Приказам не подчинялись, в атаку шли, распевая «Интернационал», мерли как мухи и удирали, не разбирая дороги... Наконец начальство сообразило, что так много не навоюешь, и нас – профессиональных вояк из армии и флота, которым раньше не доверяли, – стали назначать командирами и военными советниками. И вот я здесь.

– Значит, ты не коммунист, – делает вывод Пато.

– Вижу, ты смышленная девушка.

Капитан, остановившись, озирается, глядит сквозь стволы сосен на дорогу, ведущую назад.

– Военное дело сродни изобразительному искусству, – замечает он рассеянно.

Потом смотрит на девушку так, словно только что заметил ее присутствие:

– Как тебя зовут?

– Патрисия.

– А что ты здесь делаешь?

– То же, что и ты, товарищ капитан.

Приветливая улыбка топорщит полоску усов, усиливая сходство капитана с голливудским киноактером.

– Ты из Мадрида?

– Да.

– Студентка, наверно?

– Я работала в компании «Стандарт электрика», а восемнадцатого июля добровольно пошла в армию и попала в войска связи. Хотела на фронт, но меня не пускали. Ты нужна здесь, говорили мне. Ты – квалифицированный техник, только надо будет еще подучиться.

– Ну и правильно говорили. – Баскуньяна снова окидывает ее любопытным взглядом. – В бою приходилось бывать?

– Нет. Сегодня – впервые, но что такое война, я знаю. Видела бомбежку... трупы... Все мадридцы знают, что это такое.

– Разумеется.

Капитан идет дальше, а Пато – за ним.

– Почему ты вступила в партию, товарищ Патрисия?

Девушка отвечает не сразу. Звук собственного имени, произнесенного этим почти незнакомым человеком, вызывает у нее странное ощущение – чуть тревожное, но приятное.

– Потому что это единственная в Испании партия, которая почти полностью состоит из рабочих, – говорит она немного погодя. – И это предполагает труд, дисциплину, действенность, героизм без громких слов...

– И очень мало демократии.

– Понятие «демократия» переоценено, – с жаром возражает она. – Это просто форма правления, при которой тираны меняются раз в четыре года.

– Да-да, я знаю... Ее защищают лишь до тех пор, пока она необходима. Это просто фаза, предшествующая диктатуре пролетариата.

– Это ты сказал, товарищ капитан. Не я.

Баскуньяна смотрит на нее с обострившимся интересом:

– Но ты ведь не принадлежишь к рабочему классу. Ты получила образование, у тебя была хорошо оплачиваемая работа. Так что по социальному происхождению ты относишься к буржуазии.

– Помимо хорошей работы, у меня были глаза и уши. И мне не нравилось, что меня считают не одной из тех, кто вскидывает кулак к плечу, а барышней, которую больше всего беспокоит, что нечем краситься, потому что перекись водорода нужна для госпиталей.

Капитан снова улыбается приветливо и задумчиво:

– И много таких, как ты?

– Немало.

– А коммунистки не красятся?

Пато проводит ладонью по коротко стриженной голове:

– Я – нет.

Потом, пройдя несколько шагов, убежденно кивает, словно в ответ своим мыслям.

– Франко – это смерть, – произносит она решительно. – А мы – это жизнь.

– Вот даже как... – с мягкой, даже ласковой насмешкой отвечает капитан. – Романтическая коммунистка... Это почти оксюморон.

– Я не знаю, что такое «оксюморон».

– Два слова с противоположным значением, употребленные вместе и противоречащие друг другу.

– Не вижу тут противоречия.

– Романтические порывы больше свойственны анархистам.

– Ненавижу анархистов.

При этих словах капитан, не выдержав, откровенно хохочет:

– В таком случае держись подальше от моих людей.

Пато пропускает это предупреждение мимо ушей. Некстати нахлынувшее воспоминание о юноше, с которым она прощалась на вокзале под дождем, о юноше, вскоре пропавшем без вести под Теруэлем, внезапно отзывается раскаянием. Как будто этим диалогом с капитаном она предаст память о нем. Но, по счастью, они уже рядом с полевым телефоном. Стало быть, и разговору конец.

– Я был поставлен командовать этим батальоном потому, что у меня имеется кое-какой опыт общения с разным сбродом, – вдруг произносит Баскуньяна. – Который особой ценности для Республики не представляет. Еще слава богу, что офицеры у меня, как я сказал, подобрались хорошие: половина – коммунисты, половина – социалисты. Мы ладим и делаем что можем. В воинской части демократии быть не может: жаль, многие этого не понимают.

Пато энергично кивает.

– Без дисциплины нет армии! – восклицает она убежденно, призывая на помощь идеологию. – А единственная дисциплина, которая оправданна и благородна, – наша! Ничего общего не имеет с преступным бездушием дисциплины фашистской.

– В этом мы с тобой сходимся, товарищ Патрисия.

Он, кажется, снова шутит. Но Пато сохраняет серьезность. Упрямо гнет свое:

– Я думаю, что комиссар...

Она собиралась сказать, что комиссар, погибший при штурме высоты, успел навести порядок в батальоне и превратить его в настоящую боевую единицу, но осекается, увидев, какое лицо сделалось у капитана.

– Перико Кабрера был человек твердокаменный, с незыблемыми принципами, свято веривший в важность своей миссии, – говорит тот и вдруг как-то странно замолкает. – Может быть, излишне суровый.

– Излишне? Что это значит для комиссара? – по привычке готова затеять спор Пато.

– Ничего особенного не значит. Он делал свою работу, и делал хорошо. Его стараниями батальон получал кое-какое идеологическое, так сказать, обеспечение... А если с личным составом возникали проблемы, решал их с ходу – без колебаний приказывал расстреливать. Так поставили к стенке трех молоденьких дезертиров и двоих буйных анархистов, не желавших подчиняться приказам. С Кабрерой были шутки плохи.

Сказано так, что Пато смотрит на командира еще внимательней. Печаль в глазах, а улыбка – широкая, почти детская, и никакого противоречия в этом нет. Он очень привлекателен, невольно приходит ей в голову, и от этой мысли возникает какая-то смутная неловкость. От его беззаботной улыбки, от ловких движений. От волнующего, какого-то очень мужественного запаха, которым от него веет, несмотря на грязь и пот, а может быть, именно благодаря им, неуверенно думает Пато.

– Как он погиб? – спрашивает она, чтобы отогнать эти неуместные ощущения.

Капитан окидывает ее быстрым оценивающим взглядом. Словно колеблется, стоит ли говорить.

– Пал смертью храбрых, – отвечает он наконец. – Погиб, как, по его мнению, пристало комиссарам. Страстным партийным словом поднимая бойцов в атаку...

Произнеся это, он делает паузу, которая Пато кажется чересчур долгой.

– И получил пулю в спину, – договаривает он.

– В спину? – ошеломлена девушка.

– Так мне доложили. Без сомнения, он в этот миг повернулся к своим и воодушевлял их, и тут какая-то франкистская гадина выстрелила в него. Другого объяснения нет и быть не может... Верно?

На миг улыбка становится заметней и тотчас исчезает, будто ее и не было. Остается лишь печаль в глазах.

– Комиссар Кабрера погиб смертью героя... Республика вправе им гордиться.

V

Вагоны грязные и неудобные, стекла в окнах выбиты, и бойцы ударной роты Монсерратского полка пытаются половчей устроиться на жестких деревянных скамейках, дремлют, склонив голову на плечо соседу. Багажные полки и проходы завалены оружием, амуницией, снаряжением – ранцами и патронными ящиками. Пахнет людьми – немывтыми и истомленными.

Солдаты-рекете уже сутки едут так из Калатаюдэ, куда после боев при Уэртаэрнандо роту отвели на переформирование и отдых. Однако наступление красных ускорило события, и 157 бойцов ударной роты спешно посадили в первый же подходящий поезд и повезли на позиции националистов, оборонявших городок Кастельетс-дель-Сегре.

Скрежешут тормоза, лязгают вагонные буфера: поезд резко останавливается. Спавший на плече товарища капрал Ориоль Лес-Форкес – смуглый, статный парень приятной наружности с коротко стриженными черными волосами – от толчка едва не падает с лавки. Ругается сквозь зубы.

Хлопая глазами, он выпрямляется, смотрит в окно, на перрон: свинцово-серый рассвет уже рассеял полумрак, и Форкесу удается прочесть название станции.

– Мы в Боте!

Тот, на чьем плече он спал, теперь тоже открывает глаза, трет их кулаками. Он тощий и рыжеватый, с бакенбардами а-ля Сумалакарреги²⁶. Зовут его Агусти Сантакреу, и он тоже из Барселоны, рожден и вырос в Каталонии. Учился на факультете философии и словесности. Они с Форкесом – соседи и друзья детства: вместе ходили в школу, вместе ухаживали за барышнями, вместе бежали во Францию, когда 21 июля 1936 года стало ясно, что в Каталонии мятеж провалился, и вместе с другими, спасшимися с захваченной красными территории, вернулись через границу домой, чтобы записаться в армию. Им по 21 году (Сантакреу на три месяца старше), но обоих смело можно считать ветеранами, вдосталь понюхавшими пороху. Тот и другой оказались среди пятидесяти бойцов, уцелевших в кровопролитном сражении при Кодо, возле Бельчите, где их Монсерратский полк poleg едва ли не поголовно, потеряв убитыми 142 человека и среди них – всех офицеров и сержантов.

– А это уже Каталония, – вырывается у Сантакреу.

Из-под берета с капральской нашивкой искрятся глаза Ориоля Лес-Форкеса. Он крепко жмет руку друга:

– Да, Агусти... Впервые за два года мы ступим на родную землю.

По всему вагону из уст в уста перелетает название станции. Кое-кто выглядывает наружу и произносит с почти религиозным благоговением: Бот, Каталония, наконец-то. Кое-кто рукоплещет, будит тех, кто еще спит. Похрапывание и протяжные зевки сменяются восторженными криками.

– Прибыли! Конечная! Выгружайся! – командует кто-то, проходя вдоль перрона.

Солдаты, разминая затекшие руки и ноги, выполняют приказ: собрав снаряжение, выходят на перрон, выстраиваются там повзводно. Между шеренгами, флегматично помахивая хвостом, разгуливает легавый пес Дуррутти – ротный талисман. Иные взамен отсутствующих шинелей набрасывают на плечи одеяла, потому что утро выдалось не по сезону холодным. У всех подвело животы: за последние сутки выдали только по ломтю хлеба и по банке консервированных кальмаров, и даже самый ярый роялист с удовольствием бы отдал свой красный берет за кружку кофе с молоком – первую на родине. Однако ничего не выдают, и рота, стоя смиренно, ждет, когда капитан дон Педро Колль де Рей окончит переключку:

– Айгуаде.

²⁶ *Томас де Сумалакарреги-и-де-Имас* (1788–1835) – активный участник Первой карлистской войны.

- Я!
- Бруфау.
- Я!
- Кальдуч.
- Я!
- Дальмау.
- Я!
- Денкас.
- Я!
- Эстаделья.
- Я!

Все они из Каталонии, из четырех ее провинций и из самых разных социальных слоев – здесь отпрыски крупной буржуазии и аристократии с давними роялистскими традициями, здесь студенты, рабочие, служащие, чиновники, крестьяне-арендаторы, – и всех, кроме языка (в Монсерратском полку принято говорить по-каталански), объединяет истовый католицизм и животная ненависть к марксистам и сепаратистам, раздирающим их отчизну в клочья. Все – добровольцы, и в одном строю стоят братья, отцы и сыновья.

- Фабрегар.
- Я!
- Фальгерас.
- Я!
- Габальда, отец.
- Я!
- Габальда, сын.
- Я!
- Жимпера.
- Я!

Ориоль Лес-Форкес, стоя вольно рядом со своим другом Сантакреу – приклад винтовки уперт в землю, руки сложены на стволе, на правом запястье висят четки рядом со стальным браслетом, где указаны фамилия и личный номер, – слушает этот монотонный перечень. У большинства его однополчан за плечами то же, что и у него: уличные бои против губителей Испании во главе с Асаньей, Негрином, Ларго Кабальеро и Компанисом²⁷, начавшиеся и проигранные в первые дни Мятежа, а те, кого не расстреляли на кладбище Монкада, кого не сбросили в ров крепости Монжуи или в придорожные кюветы, разными путями пришли в Монсерратский полк. Одни – успев повоевать в других местах, в других воинских частях, другие – новобранцами. Боевой дух у всех очень высок и поддерживается жаром патриотизма и веры – недаром говорят, что нет солдата лучше, чем рекете после причастия; за мессы и таинства отвечает патер дон Игнаси Фонкальда, сами же солдаты носят на груди, под рубахой, образок, а поверх френча – скапулярий со Святым Сердцем Иисусовым, способный, как известно, ответить пулю. Недавно выданные новые стальные каски «Трубия» у всех приторочены к ранцам. Истинный рекете гордится тем, что в бою голову ему защищает его красный берет.

– Ну, что думаешь? – шепчет Сантакреу.

– Думаю, что завтра свадьбу сыграем, – отвечает капрал. – Угостят на славу, накормят до отвала.

²⁷ *Мануэль Асанья Диас* (1880–1940) – испанский политик, журналист и писатель, во время описываемых событий – президент Испании. *Франсиско Ларго Кабальеро* (1869–1946) – испанский политик, глава Испанской социалистической рабочей партии (PSOE). *Льюис Компанис-и-Жовер* (1882–1940) – каталонский политический деятель, во время описываемых событий – глава правительства Каталонии.

В строю они стоят рядом, хотя Форкес почти на голову выше. Как и у многих других, к прикладам их «маузеров-Овьедо» приклеена бумажная иконка с образом Моренеты – Пречистой Девы Монсерратской. Хотя оба они образованные, на офицерские курсы, после которых присваивают звание «младшего лейтенанта военного времени», пойти не желали. Предпочли каталонский полк, где звучит родной язык и служат земляки.

Сантакреу морщится:

– Даже по стакану цикория не налили... И посмотри на капитана: он сейчас весь перрон стопчет: ходит как маятник туда-сюда.

Капрал смотрит на дона Педро Колль де Рея – импозантный мужчина с выхоленной бородкой, в красном берете с тремя шестиконечными звездочками, с тростью, которой он небрежно помахивает на ходу, больше похож не на военного, а на аристократа, отправившегося на псовую охоту. Даже оружие у него не табельное – денщик несет за ним великолепную двустволку «Сараскета». Он принял командование ротой всего два месяца назад, но все знают, что до этого заработал медаль в кровопролитных рукопашных боях на севере, где воевал в составе Лакарского полка.

– Ишь, как спешит. Не терпится ему... А ведь до линии фронта – пятьдесят километров.

– Это в том случае, если ремихии не придвинулись малость поближе.

Ориоль Лес-Форкес ухмыляется. Кличка «ремихии» приклеилась к красным после серии юмористических передач Национального радио «Ополченец Ремихий – бравый вояка». Если верить радио, ремихии были как на подбор – трусы, лодыри и пошляки.

– Оно и лучше – нам меньше шагать.

– Слушай, ты прав, – отвечает Сантакреу. – Нет худа без добра, или, как говорит наш патер, «Господь, когда запирает дверь, тут же открывает окно».

Убедившись, что все налицо, капитан Колль де Рей – пес следует за ним неотступно – подает отрывистую команду, и рота, повернувшись направо, трогается с места. В рассветных сумерках рекете под знаменем с андреевским крестом, которое несет сержант Буксо, не слишком стройной колонной и не чеканя шаг, покидают перрон.

– Плакал наш завтрак, – говорит Сантакреу, видя, что рота огибает городок и движется по направлению к Батее.

Через полчаса, когда наконец вступает в свои права утро, колонна делится надвое и идет по обеим обочинам шоссе – на тот случай, если появятся вражеские самолеты и надо будет рассредоточиться. Солдаты идут молча, берегут силы: слышно только, как побрякивают на поясах штыки в ножнах, задевая фляги, алюминиевые котелки, затворы винтовок и пряжки на противогазных сумках, в которых, вопреки уставу, все давно уже носят табак и индивидуальные пакеты.

По гравию дороги вразнобой стучат сапоги. Иногда, чтобы отвлечься от пустоты в желудке, несколько солдат затягивают песню, сложенную еще их прадедами-карлистами. Как яркие маки, алеют на шоссе две цепочки красных беретов. Ориоль Лес-Форкес с наслаждением подставляет лицо легкому ветерку, веющему запахами смолы, укропа, чабреца, розмарина.

Уже пахнет Средиземноморьем, думает капрал. Каталонией.

– Славный денек, – говорит он Сантакреу, который идет впереди с винтовкой на ремне.

– Был бы славный, если бы накормили, – бурчит тот. – *Ad mensam sicut ad crucem*²⁸.

Форкес горд вдвойне – он не просто сумел возвратиться на родину, но пробился сюда с боями, и каждый шаг требовал напряжения всех сил и грозил смертью. Подлым и трусливым сепаратистам, захватившим власть в стране, сумели показать, что не все каталонцы покорные

²⁸ Изречение, которое часто помещали в трапезных монастырей кармелитов по бокам креста: слева – «Ad mensam sicut ad crucem», «К столу – как на крест», то есть надлежит умерщвлять плоть, справа – «Ad crucem sicut ad mensam», «К кресту – как за столом (на пиршестве)», то есть человек, неся свой крест – в жизни, в страданиях, в посте, в гонениях, в апостольской деятельности, – испытывает радость, как за праздничным столом.

рабы или ошалевшее от марксистской ереси отребье, а остальным испанцам, включая и генералиссимуса Франко, – что, несмотря на провалившийся Мятеж, на бесчинства вооруженного сброда, на пытки и расстрелы в застенках и подвалах ЧеКа²⁹, существует и другая Каталония – благородная, верная, не сдавшаяся и борющаяся. Готовая и способная, если понадобится, смыть недоверие к человеку, носящему каталонскую фамилию и говорящему по-каталански, – недоверие, крепко угнездившееся в душах многих и многих испанцев, которые по незнанию стригут всех под одну гребенку. Вот потому так нужен Монсерратский полк, думает он. И все, что он воплощает и чем вознаграждает.

– Мы снова ступили на свою землю, Агусти, – с напором говорит он, не скрывая радости. – Скоро уж будем пить вермут с джином и принимать ванны в отеле «Ритц».

– Жаль только, что Фрейшес, Риера и другие не могут порадоваться с нами.

– Они радуются, глядя на нас с небес.

– Верно.

Да, конечно, они там, уверен Форкес. В царствии небесном, в райском саду. Вознеслись туда прямо из Кодо, минуя чистилище, ибо отбыли свой срок в земной жизни: Кастани, Падрос, лейтенант Алос, трое братьев Сабатов, двое братьев Фига – Хуан и Хоакин, отец и сын Губау... Они и все остальные – те, что дрались до последнего патрона на развалинах городка, и те, кто был ранен, взят в плен и расстрелян красными, и те, кто еще уцелел и попытался штыковой атакой вырваться из кольца в Бельчите – удалось это лишь Форкесу, Сантакреу и еще сорока двум солдатам, – все остальные погибли по дороге. Настоящие рекете. Люди веры и чести. Отважные сыны Каталонии.

– Воздух! – слышится чей-то крик.

Отдаленный рокот моторов, черные точки, приближающиеся с запада. Да, налет.

– Рассредоточиться!

Свисток капитана Колля де Рея – и солдаты рассыпаются по обе стороны шоссе, припадают ничком к земле. Кое-кто вскидывает винтовку, а лейтенант Кавалье приказывает изготавить к стрельбе 8-миллиметровые ручные пулеметы «шоша».

Нет, ложная тревога. Это свои: на задней части фюзеляжа у них черные косые кресты – опознавательные знаки франкистской авиации. Пролетая над ротой, один из пилотов поднимает руку в салюте.

Солдаты, все еще лежа в несжатой пшенице, провожают глазами удаляющиеся самолеты, меж тем как невозмутимый Дуррутти, не убежавший вместе со всеми, оставляет хвост, сгибает задние лапы и, вскинув голову, как самый неустрашимый рекете, наваливает посреди дороги изрядную кучку.

– Засели в «Доме Медика», господин лейтенант!

Сантьяго Пардейро осторожно высовывается из окна верхнего этажа, защищенного тюфяком и мешками с землей, и ощущает неприятную пустоту в желудке. Предчувствие неминуемой беды. И потому, стараясь успокоиться, выжидает, несколько секунд стоит неподвижно, словно продолжает наблюдать за пустынной площадью, на которой теперь лишь изредка слышны одиночные выстрелы. Потом медленно поворачивается к легионеру: по лицу, покрытому кирпичной крошкой и гипсовой пылью, текут ручейки пота.

– Тише! Чего орешь? Орать сейчас не надо.

²⁹ ЧеКа (*исп.* chesa, чека), названные так по аналогии с советскими «чрезвычайными комиссиями», – органы, созданные для борьбы с «пятой колонной» на территории Второй Республики и занимавшиеся похищениями, допросами, пытками и убийствами людей, заподозренных в симпатиях к националистам.

Легионер вытягивается. Это светлоглазый белобрысый венгр по имени Кёрут или что-то вроде. На службе он вместе со своими земляками-антикоммунистами – всего года полтора, а потому еще не избавился от акцента.

– Красные пробрались туда, господин лейтенант... Захватили два дома и, значит, прервали сообщение.

От него сильно несет винным перегаром; пуговицы на низах узких брюк расстегнуты. После полудня вода кончилась, зной усилился, а потому винные погреба в городке опустошаются исправно. Грязные, расхристанные легионеры ведут бой полупьяными, и выпитое тотчас выходит потом.

– Это точно?

Легионер показывает себе за спину:

– Парнишка оттуда пришел. От капрала Лонжина.

За ним стоит Тонэт, местный мальчуган, как и все здесь, в пыли с головы до ног. Штаны на коленях у него разодраны, и сам он весь в грязи – видно, много ползал среди обломков. На голове – легионерская пилотка не по размеру. Красная кисточка болтается над детским упрямым лбом.

– Сам видел, малыш?

Тонэт кивает и докладывает обстановку. В «Доме Медика», крайнем слева по линии обороны, сидят капрал Лонжин с пятью легионерами, из них трое ранены. По крайней мере, так было до той минуты, когда капрал, увидев, что их окружили, приказал ему выбраться оттуда и сообщить командиру.

– Еще там в подвале прячутся две женщины и старик. Дядюшка Арнау с женой и дочкой беременной.

Пардейро, вызвав в памяти план местности, прикидывает варианты. Выбранная им позиция хороша тем, что защищала его линию обороны от удара с фланга. Если «Дом Медика» возьмут, положение изменится и станет угрожающим.

– Что еще велел передать капрал?

– Велел только, чтобы я сказал: «Легион, ко мне!»

Пардейро кривит губы. Когда звучат эти три слова, все легионеры, где бы они ни были, какова бы ни была обстановка, не спрашивая, будет от этого прок или нет, бросаются на выручку товарищу, который попросил о помощи. Таков символ веры легионеров. Впрочем, сейчас не до символов. Красные напирают как бешеные, сдерживать их удастся с большим трудом, а у него нет ни одного лишнего человека, чтобы восстановить связь с окруженными. И Синдикат-то вернуть удалось немалой кровью – один убит, трое ранены. Так что теперь легион может только отбиваться до последней возможности, а исчерпав ее – отходить с боем. А Лонжину и прочим придется справляться самим.

Над церковью разрывается мина, осыпая улицу осколками сбитой черепицы. Это уже пятая или шестая. Все машинально пригибаются – все, за исключением Тонэта, который со вчерашнего дня вихрем носится по Кастельетсу и уже усвоил себе повадки опытного связного. И едва лишь вновь воцаряется тишина, изредка нарушаемая одиночными выстрелами, как из соседнего дома трещат две автоматные очереди, а с колокольни – до того издырявленной пулями и осколками, что непонятно, почему она еще не рухнула, – к ним присоединяется пулеметная, вплетая свою собственную прихотливую мелодию: ра-тататата-та-та. Там, за «гочиксом», видно, большие забавники лежат, с усмешкой отмечает лейтенант.

И переводит взгляд на мальчика:

– Сумеешь вернуться туда?

– Сумею, господин лейтенант, – без раздумий отвечает тот.

– И так, чтоб не подстрелили?

– Там – сарай, птичник и здоровенный бак с водой... Проползу между ними, никто и не заметит.

– Уверен?

– Уверен. Я уже бывал там.

– Ну ладно... Скажи капралу Лонжину – мы ничего не можем для него сделать. Пусть дождется темноты и попытается прорваться. Понял?

– Понял.

– И еще скажи, что, если здесь не удержимся, зайдем оборону в кооперативе, где торговали оливковым маслом. Это почти на выезде из города.

– Ладно.

– Сможешь объяснить им, как туда пройти в темноте? Ну, тем, кто останется в живых...

– Конечно. Я вообще могу остаться с ними и проводить.

– Это было бы здорово. Так, а теперь все повтори.

Мальчик скороговоркой, как отвечают урок, повторяет задание. Пардейро с улыбкой ласково щиплет его за щеку:

– Ты в школу-то ходишь, Тонэт?

– Ходил, пока учителя не убили.

– Красные?

– Фалангисты.

Это сказано со свойственным детям безразличием. Сказано так, словно для этого мальчика, так недолго живущего на свете, убивать или умирать – в порядке вещей, самое что ни на есть обычное дело.

После этих слов ненадолго повисает неловкое молчание. И только чтобы нарушить его, Пардейро наконец произносит:

– Ты, паренек, замечательный связной.

– Спасибо, господин лейтенант.

Тот отходит от окна.

– Ну давай, отправляйся. Провожу тебя до дверей.

Вслед за венгром они спускаются по лестнице. У подножия, на облицованном плиткой полу – пятна крови и гипсовая пыль. Здесь, когда взяли дом, добились штыками троих раненых, оставленных республиканцами при отступлении, – ну не в плен же их было брать. Предварительно сняв снаряжение, гранаты, фляги и достав из карманов сигареты, трупы красных отволокли в подвал, где уже лежали двое убитых.

– Осторожно, Тонэт... Погоди-ка...

Чуть высунувшись из-за двери черного хода, Пардейро оглядывает улочку. Красные еще не обстреливают ее, но какой-нибудь снайпер мог притаиться в соседних домах.

– Прикрой его и проводи докуда сможешь, – говорит он Кёруту.

– Слушаюсь.

Проверив, заряжено ли оружие, он бегом пересекает открытое место, припадает к земле у полуразрушенной стены и, выставив винтовку, наблюдает за улочкой.

– Ну, теперь беги, малыш. – Пардейро хлопает его по плечу. – Желаю удачи.

Тонэт, облизнув губы, пулей мчится вперед, перемахивает через рухнувшие стропила и исчезает за стеной. Венгр, поднявшись, оборачивается к лейтенанту и по его кивку идет следом за мальчиком.

Пардейро смотрит на часы: без четверти двенадцать и жара адава. Он уже скинул френч, и промокшая от пота рубашка липнет к телу. Как же еще далеко до ночи, до темноты. И неизвестно, продержится ли до тех пор «Дом Медика», но помочь капралу Лонжину и его людям он не может. Ему бы эту позицию удержать. Лейтенант знает, что красных перед ним – до батальона и что положение его незавидно.

С автоматом через плечо, запыленный и запыхавшийся, появляется сержант Владимир. Он обошел позиции и готов доложить. Боеприпасов, по счастью, достаточно, в домах нашлась кое-какая провизия, есть вино, так что можно утолить жажду и даже побриться, что Пардейро, блюдя достоинство офицера, и сделал, благо на рассвете ординарец направил бритву и приготовил брусочек мыла.

– Красные обложили капрала Лонжина, – говорит лейтенант, покуда они поднимаются наверх.

Сержант морщится. Ибо понимает: возьмут «Дом Медика» – рано или поздно жди гарантированный удар во фланг.

– Мы можем что-нибудь сделать, господин лейтенант?

– Ничего мы не можем... Все зависит от них. Либо прорвутся, либо все там и лягут.

Глухие удары черепицы и обломков о стены. Еще одна мина разорвалась на улочке, по которой скрылись Тонэт и легионер. Пардейро высовывается в окно – и тотчас прячет голову, чтобы какой-нибудь зоркий стрелок не взял на мушку. Площадь по-прежнему пустынна, если не считать нескольких трупов, лежащих на ослепительном, беспощадном солнцепеке.

– Думаю, красные усилят напор, потому что мы их задерживаем. Скажи нашим, что в случае чего будем медленно, в порядке, повзводно отступать к зданию кооператива... Ясно?

– Ясно.

– Если все же дойдет до этого, последними отходят те, кто сидит в церкви. Я буду с ними.

– Может, мне поручите, господин лейтенант? – с машинальностью профессионала предлагает сержант.

Пардейро с трудом удается подавить улыбку. Если придется отступать, церковь станет настоящей мышеловкой, но он, хоть и недавно в Легионе, успел уяснить себе, что сержант Владимир не склонен ни к красивым фразам, ни к героическим жестам. Как и у капрала Лонжина, венгра Кёрута и прочих, здесь действует доведенный до автоматизма стереотип поведения: легионер – первый в атаке, последний – в отступлении. Это кастовая гордость, предполагающая отвагу и стойкость. Когда командир вызывает желающих умереть, шаг вперед делает вся рота. Без раздумий, без сомнений – и лишь по той простой причине, что так поступают все. Так было всегда, так есть и так будет. Потому что это – Легион. Свежеиспеченный младший лейтенант Пардейро в свое время по доброй воле выбрал службу в нем – и вот сейчас сидит здесь весь в пыли и пороховой копоти, и выпитое вино выпаривается потом.

– Нет, церковь оставь мне, – отвечает он. – Проследи, чтоб раненых, которые могут двигаться, увели загодя, не в последнюю минуту. А то застрянут сами и нас задержат. А бросать их здесь – не годится.

– А лежачих?

– Тех оставишь.

Они смотрят друг на друга, ничего не добавляя к сказанному, – все понятно без слов. Франкисты и республиканцы знают и принимают как должное неписанные законы: мавров, легионеров, рекете, фалангистов, с одной стороны, и офицеров, политкомиссаров, интербригадцев – с другой, раненые они или нет, обычно в плен не берут. Допрашивают и расстреливают. Не говоря уж о тех, кого убивают в горячке боя, даже если они сдаются. На войне рыцарство оставляют для романов.

Над крышами в отдалении прокатывается артиллерийский залп. Сержант хмурит лоб под надвинутой пилоткой:

– Восточная высота вроде бы еще сопротивляется.

– Да. Но западную мы потеряли.

Сержант задумчиво кивает:

– Господин лейтенант...

– Ну?

– Как считаете – могут нас окружить?

Пардейро пожимает плечами:

– Могут. Однако приказано держаться до последнего.

Русский, сняв пилотку, вытирает мокрые от пота волосы – очень светлые и очень короткие:

– А что будет после этого кооператива?

– Иными словами, если мы и там не выстоим?

Тот не отвечает. Снова натягивает пилотку и устремляет на офицера по-уставному внимательный взгляд своих татарских глаз.

– Я намерен драться, – подводит итог лейтенант. – Драться, пока подкрепление не пришлют.

Сержант задумывается на миг. Он явно хочет что-то сказать и вот наконец решается:

– А если не пришлют? Или пришлют, но уже поздно будет?

Они смотрят друг на друга молча: слова ни к чему, потому что Пардейро и так знает, что на уме у русского – «младший лейтенант – на время и покойник – навсегда». Для многоопытного сержанта стоящий перед ним молодой офицер уже одной ногой в могиле. Он видел его в бою, видел, как тот лез в самую гущу, стараясь подавать своим солдатам пример. И дальше будет так вести себя, пока не вытянет свой жребий. А потому, если придется оставить и кооператив, Сантьяго Пардейро, скорей всего, с ними уже не будет. И никакой драмы в этом нет, таков естественный ход событий: на глазах у сержанта за шестнадцать лет службы в Легионе погибло столько офицеров, что он хочет знать, как действовать, если придется взять на себя командование ротой. Чтобы никто не мог упрекнуть его потом.

– В этом случае, – ответил Пардейро, – нам остается скит Апаресиды, это примерно в километре отсюда. Вспомни – туда ведет дорога меж оливковых рощ. Там вся местность идет сплошными каменными уступами: легче будет отбиваться, если сумеем дойти... – Он немного помолчал. – Или если вы сумеете.

Сотрясая стены, грохочут один за другим три разрыва. Лейтенант в тревоге подскакивает к окну – так и есть: из домов напротив начали выскакивать республиканцы. Вдоль всей линии обороны трещат винтовочные выстрелы, и пулемет с колокольни обмахивает веером очередей зеленовато-коричневые и синие фигурки, бесстрашно, зигзагами пересекающие площадь.

Тогда Сантьяго Пардейро достает из кобуры тяжелый пистолет, большим пальцем сдвигает предохранитель, вздыхает, и в этом вздохе – вся его невероятная, давяще-плотная усталость.

– Давай на место, Владимир... Опять полезли.

В Аринере, где разместился штаб XI бригады, Пато Монсон, два часа просидевшую перед эриксоновским коммутатором, наконец сменяют.

– Готовься, – говорит она Марго. – Десяти гнезд мало для этого безумия.

– «Эр-Эр» так и не наладили?

– Нет, не действует... Так что связь держим только по телефону.

Передав сменщице головной телефон, Пато показывает ей свои многочисленные записи в регистрационной книге, встает и разминает затекшие руки. Пока дежурила, ей и минутки не пришлось отдохнуть. Все желали говорить со всеми: командир бригады выходил на связь с командирами батальонов и с частями, стоявшими пока на другом берегу, офицеры с передовой то требовали соединить их с начальством, то вызывали друг друга. В наушниках, перекрывая грохот разрывов и стрельбу, звучали напряженные голоса тех, кто был на аванпостах, и нетерпеливые – тех, кто пока смотрел на быка из-за барьера. По десяти линиям проникал к ней хаос войны.

– Если что – я тут рядом, – говорит она Марго и выходит наружу.

Она сильно утомлена и хочет глотнуть свежего воздуха, а потому покидает душный закуток, освещенный керосиновыми лампами, и проходит через помещение командного пункта, где офицеры наносят на карты обстановку, снуют с донесениями связные, а кто-то просто курит и болтает с соседом, пристроившись с винтовкой между колен на ступеньках или прислонившись к стене.

В глубине, вокруг большого стола, застеленного картами, обсуждают положение подполковник Ланда, майор Карбонелль и комиссар бригады. Спинай к Пато стоит еще один офицер, похожий на капитана Баскуньяну, с которым она вчера разговаривала в сосняке. Похоже, у них идет довольно горячий спор – комиссар Русо уже дважды стукнул по столу кулаком.

– Далеко не уходи, – предупреждает лейтенант Харпо, когда Пато проходит мимо. – Сама видишь, что тут у нас творится.

– А вообще как?

– Могло быть и лучше.

В воздухе, пропитанном табаком и потом, гудят возбужденные и встревоженные голоса этого мужского многолюдья, и Пато вздыхает с облегчением, когда наконец выбирается наружу, на яркий свет дня, в большое патио с выбеленными стенами.

В дальнем его конце, где прежде хранили всякий сельскохозяйственный инвентарь, теперь перевязывают и сортируют раненых, скорбным потоком поступающих из городка, – одни на своих ногах, другие на носилках. Под брезентовым навесом громоздятся зеленые склянки с противостолбнячной сывороткой, тюки с бинтами и марлей; бутылки с хлороформом. Там и тут видны обмотанные окровавленным тряпьем головы, незрячие глаза, руки на перевязи, раздробленные ноги, болтающиеся на носилках, залитых кровью до самых рукоятей. Прибывших усаживают в тень, и врач с четырьмя помощниками-практикантами осматривает их, распределяя по степени тяжести. Одних, наскоро обработав их раны, возвращают на передовую, других отправляют в тыл – к реке, а третьих, безнадежных, укладывают в сторонке, вкалывают им морфин, чтобы затем и вскоре отнести чуть подальше, к стене, и положить в длинный ряд тел, с головой покрытых одеялами: над ними жужжат рои мух и из-под них выглядывают ноги в сапогах или альпартгах.

Пато, сунув руки в карманы комбинезона, смотрит на них издали и вспоминает фашистские бомбардировки Мадрида, женщин и детей, разорванных на куски или раздавленных обломками домов. Не раз, выходя из здания своей компании, она видела изуродованные трупы, а однажды бомба разнесла вертящуюся входную дверь, и охранявший ее штурмгвардеец – симпатичный усач, неизменно заигрывавший с девушкой, – раненный осколками, ослепший, ворочался в луже крови, зовя на помощь.

– Все это и привело меня сюда, – говорит она вслух, сама того не замечая.

И спохватывается, лишь когда мужской голос за спиной отвечает:

– *Всего этого*, должно быть, накопилось слишком много.

Пато оборачивается: она смущена и удивлена. Разве что не покраснела. Перед ней стоит капитан Баскуньяна – усы как у Кларка Гейбла, фуражка, не без ухарства сдвинутая набекрень. Щурясь от дыма зажатой во рту сигареты, он разглядывает Пато.

– Эти уже не годятся для исторического анализа, для самокритики и марксистской диалектики, – говорит он, показав подбородком на раненых и мертвых.

Пато не отвечает. Стоит как стояла, дыша глубоко и редко.

– Сигаретку? – предлагает капитан.

Она качает головой. И миг спустя спрашивает:

– Как там дела с нашей Лолой?

– Да никак, – отвечает капитан. – Фашисты держатся, так что готовится новый штурм, и меня прислали внести кое-какие коррективы. Дай бог, чтобы наша артиллерия накрыла мятежников, а не нас. И сделала их более податливыми, когда мы полезем наверх.

– Без комиссара?

Капитан улыбается:

– Да, на этот раз – без него. Но думаю, я и сам справлюсь.

Пато кивает. И замечает, что капитан пристально смотрит на нее. И печаль в его глазах странно уживается с детской улыбкой на губах.

– *Все это...* – мягко повторяет он.

Пато уклончиво пожимает плечами. Ей, конечно, хочется объяснить свою мысль и особенно – именно этому человеку, стоящему рядом.

– Лучше самой пережить все это, чем спокойно сидеть во втором эшелоне и беспомощно смотреть, как нас убивают франкисты.

И умолкает, засомневавшись, надо ли продолжать или нет. Взгляд капитана помогает ей сделать выбор.

– В первые дни войны, – решается она, – я видела, как женщины-ополченки, пылая страстью и яростью, выходили на улицу драться вместе с пролетариями...

И снова замолкает, не зная, насколько уместно будет договорить.

– Мне кажется, это не совсем твой случай, – замечает Баскуньяна.

Она благодарно кивает – он ухватил самое главное:

– Да, у меня не было ни страсти, ни ярости... Я просто занялась политикой. В восемнадцать лет вступила в Союз женщин-антифашисток. И удивлялась, что Пассионария, Виктория Кент или Маргарита Нелькен собирают больше людей, чем корриды с участием самых прославленных тореро. Меня буквально завораживали фотографии русских женщин на обложках «Эстампы» или «Мундо графика»...

– И тебе хотелось стать одной из них, – договаривает за нее капитан.

– Я и стала. Или пытаюсь стать.

– Но сейчас редко можно встретить женщину на фронте.

– Да, я знаю... О нас идет дурная слава.

– Я не об этом, – качает головой Баскуньяна.

– Да не важно, не переживай... Я не обиделась. Поначалу мы были полезны для пропаганды. Фотографии девушек в синих комбинезонах из чертовой кожи, с патронташами крест-накрест, с винтовкой в руках имели успех и у нас, и за границей, шли на пользу нашему делу. Потом мы перестали быть героинями: отношение к нам изменилось – теперь на нас смотрят косо...

Она замолкает, словно вдруг устала говорить.

– Ну ты сам знаешь...

– Нет, не знаю.

– Посыпались как из худого мешка толки и слухи: дескать, мы проститутки, мы разносим венерические болезни...

– А-а, ты об этом.

Баскуньяна в последний раз затягивается сигаретой, почти обжигающей ему ногти, бросает окурок, пожимает плечами.

– Ну, отчасти это так, – говорит он, улыбкой как бы прося не принимать свои слова всерьез. – В первые дни проститутки толпами записывались к нам. Я даже помню кое-кого из них.

Пато болезненно морщится:

– Только в самом начале. Пока всюду еще царили разброд и дезорганизация... Но навредить они успели. Быть ополченцем считалось доблестью для мужчины и позором для женщины.

– И это верно, – соглашается капитан. – Несправедливо, конечно, но верно.

– Тогда решили, что война – мужское дело, а нам лучше сидеть в тылу.

– В кое-каких вопросах некоторые наши вожди недалеко ушли от фашистов, – саркастически замечает Баскуньяна.

– Именно так. Женщина – это машина для производства потомства, домохозяйка... Вот во что нас хотят превратить те и кое-кто из этих. Из наших.

– Однако же вы здесь – ты и твои подруги... Достойное исключение.

– И мы это заслужили. В моем взводе все получили хорошее образование, а потом еще учились профессии связиста. Всякие специальные курсы, повышение квалификации... С точки зрения подготовки мы на голову выше всей этой...

И осекается, меж тем как капитан улыбается шире.

– Полуграмотной солдатни? – договаривает он за нее.

Пато не отвечает. Взгляд ее скользит по раненым под навесом.

– Я знаю, что ждет нас, женщин, если победят фашисты, – говорит она миг спустя.

– Все потеряете и откатитесь на сто лет назад.

– Вот именно.

Они молча смотрят друг на друга. Оба очень серьезны. В глазах у него, думает Пато, светится покорность судьбе. Оттого у него на лице такая печаль, которую он словно хочет скрыть постоянной улыбкой. Это взгляд человека, не питающего иллюзий ни насчет будущего, ни в отношении настоящего.

– А как там идут дела? – спрашивает она для того лишь, чтобы нарушить молчание. И для того, чтобы оборвать собственные мысли.

– Да об этом тебя лучше спросить, – пожав плечами, насмешливо говорит Баскуньяна и показывает туда, откуда они только что вышли. – Ты ведь в полном курсе дела.

– Ну уж... Мое дело – тянуть провода и втыкать штекеры. Устанавливать связь.

– И ты не слышишь, о чем говорит начальство?

– Стараюсь слышать как можно меньше.

– Ты, я смотрю, не любопытна.

– Что есть, то есть.

Баскуньяна переводит взгляд на раненых. Как раз в эту минуту появляются трое новых. Один, с завязанными окровавленной тряпкой глазами, держится за плечи товарища, который, опираясь на винтовку и припадая на одну ногу, идет перед ним.

– Ну, в сущности, дела неплохие. Ниже по реке наши наступают на Гандесу и теснят франкистов.

– А здесь что?

– Да и здесь нам тоже кое-что удалось. Кладбище и высота Пепе в наших руках. И примерно половина Кастельетса – тоже. Скоро отобьем и Лолу. – Баскуньяна смотрит на часы и машинально ощупывает кобуру пистолета, словно только что заметил его у себя на боку. – Я бы с удовольствием поболтал с тобой еще, но, к сожалению, надо идти.

Пато неожиданно хочется задержать его еще немного.

– Я слышала, наши танки скоро будут на этом берегу.

– Говорят... Раньше не получалось, потому что фашисты разбомбили железный мост. Но доставили понтон, и они переправятся сюда по одному.

Капитан и Пато смотрят друг на друга в нерешительности, не зная, что бы еще сказать и под каким предлогом продолжить разговор.

– Надеюсь, мы еще увидимся, – говорит Баскуньяна.

Потом с улыбкой подносит два пальца к козырьку и отходит от Пато на три шага. Но вдруг останавливается, оборачивается к ней:

– У тебя есть кто-нибудь?

Захваченная врасплох девушка отвечает не сразу:

– Наверно, есть.

- Звучит как-то не очень уверенно, – улыбается капитан.
- Это было в Теруэле. И с тех пор я ничего о нем не знаю.
- А-а... Понимаю...

Не двигаясь, они продолжают смотреть друг на друга.

- Он не был... – подыскивает слова Пато. – Моим, как бы это сказать... А всего лишь...
- Ну ясно, – задумчиво кивает Баскуньяна.

Потом медленно поднимает к плечу левую руку, сжатую в кулак, – отдает республиканский салют, выражением глаз и улыбкой снижая торжественность жеста.

- Удачи тебе, боец.
- И тебе, товарищ капитан.

Баскуньяна идет прочь. Пато провожает его глазами, но тут из штаба появляется лейтенант Харпо и тоже смотрит вслед капитану.

– Не стоит тебе с ним тары-бары вести... – говорит он. – По крайней мере, пока он не возьмет высоту.

Пато в удивлении оглядывается:

- Это еще почему?

Харпо, словно в нерешительности – говорить или нет? – ерошит свои седые кудри. Оттягивая ответ, снимает очки и смотрит на свет, прозрачны ли стекла.

– Да я слышал от Русо и еще кое от кого... Комиссар винит Баскуньяну в том, что он недостаточно требователен к своим солдатам. Мирволит им, потекает...

С этими словами снова надевает очки и смотрит вслед капитану, который, проходя под навесом, остановился, склонился над одним из раненых и дал ему закурить.

- Не возьмет Лолу, – договаривает он, – как бы не расстреляли...

Пато вздрагивает:

- Ты что – шутишь? Не может такого быть.
- Какие уж тут шутки... – оглянувшись, Харпо понижает голос. – С комиссаром шутки плохи... Вижу, девочка моя, тебе и невдомек, какая это сволочь.

- Эй, краснопузые! Слышит меня кто-нибудь?! Погодите, не стреляйте!

Хулиан Панисо, скорчившись у окна среди битого стекла и обломков мебели, раскуроченной пулями, вставляет в магазин патроны. И, еще полуоглохший от недавних взрывов, не сразу слышит голос, который доносится с другой стороны улицы, из «Дома Медика». Но вот наконец услышал и насторожился.

- Это фашисты, – говорит ему Ольмос.
- Что?
- Глухая тетеря... Фашисты, говорю! Вроде нам кричат.
- Да не брешы... Не может такого быть.
- А я тебе говорю, что желают с нами разговаривать.
- Но мы же их обложили...
- Может, сдать их хотят.
- Это ж легионеры. Если верить молве, они не сдаются никогда.

С той стороны вновь звучит голос. Выговор андалузский. Прекратите огонь. У нас важное сообщение. Панисо проводит ладонью по грязному, мокрому от пота лицу, вставляет магазин в автомат. Щелчок.

- Ловушка, я уверен, – говорит Ольмос.
- Может, и так, а может, и нет. Скажи нашим, чтоб не стреляли.
- В бригаду сообщить?
- Не надо.

Стрельба смолкает. Становится тихо. Панисо придвигается к окну, стараясь не высовываться.

– Чего надо?

– У нас тут беременная, – отвечает далекий голос.

– Вы же ее небось изнасиловали и обрюхатили, козлы вонючие. Вы или кто-нибудь из ваших попов.

– Дурень, я серьезно... Лежит в подвале, того и гляди родит.

Панисо и Ольмос переглядываются. Остальные подходят к ним, любопытствуя, присаживаются рядом на корточки, не выпуская из рук винтовок.

– Ну а от нас-то что хочешь, морда фашистская?

– Женщина все же... Скотами не надо быть.

– От скота слышу.

– Слушай, нельзя же эту бедолагу так оставлять... У вас ведь наверняка врачи есть?

– У Народной армии Республики все есть.

– О том и речь. У нее уже воды отошли, а мы не знаем, как тут быть.

– Сдавайтесь без разговоров, вот и все.

– Не, так не пойдет... Не дожدهшься. У нас есть еще патроны и курево, так что попробуйте нас уговорить. Суньтесь только.

– И сунемся, будь спокоен, – сулит Панисо.

– Да что-то вы подзадержались... Только пусть вас соберется побольше, чтоб одним разом всех прихлопнуть.

Панисо и его люди тихонько посмеиваются: надо отдать этим сволочам-франкистам должное – кишка у них не тонка. Подрывник осторожно выглядывает в окно. От них до того дома с выщербленным пулями фасадом – метров пятнадцать. Он погружается в недолгое раздумье, вопросительно поглядывая на товарищей – грязных, обросших бородами, с воспаленными от усталости глазами. Дождавшись кивка, снова поворачивается к окну.

– Эй, фашист.

– Чего тебе, краснопузый?

– Ну, как поступим с беременной?

– Как-как... Дадим ей выйти из подвала и пересечь улицу, а вы не будете стрелять.

– А она дойдет?

– Ее сопровождают еще одна женщина и старик.

– Старика себе оставьте.

– Недоумки, дедули испугались.

– Да мне насрать. Хоть дедуля, хоть внучек – каждого мужчину, который высунет морду, изрешетим.

– Ну я же говорю – зверье.

– Ну я же говорю – педерасты.

– Убьете – это будет на твоей совести.

– Нет, на твоей.

Повисает молчание. Франкисты, наверно, обсуждают условия или уже выводят роженицу из подвала. А может быть, готовят ловушку. И потому Панисо прислоняет автомат к стене, снимает с ремня польскую гранату-лимонку WZ, кладет ее на пол, чтобы на всякий случай была под рукой.

– Эй, – слышится далекий голос. – Она сейчас выйдет.

– Только женщины – беременная и эта вторая... Ясно?

– Ясно-ясно-распрекрасно.

– И помни – прекращаем огонь, пока она не перейдет улицу. А потом все начнем по новой.

– Ладно, согласны.

– Только смотри не тяни, дело к вечеру, а ведь надо вас успеть замариновать, прежде чем зажарить.

– Мы еще посмотрим, кто кого зажарит... Но спасибо, что предупредил.

– В задницу себе засунь свое спасибо.

– Да куда там... У меня от страха очко сжалось.

– Разождем, не сомневайся.

– Может быть... Но сперва ты мне отсосешь.

Республиканцы – в боевой готовности: палец – на спусковом крючке. Панисо опирает о подоконник ствол автомата, со звонким щелчком взводит затвор. Переключает огонь с одиночного на непрерывный и осторожно высовывается из окна – ровно настолько, чтобы взглянуть на улицу.

А на другой стороне ее кто-то с глумливым весельем запекает:

Люблю девчоночку мою,
И я любви ее добыюсь.
Я, чтобы с нею жить в ладу,
На фронт, во-первых, не пойду,
На лейтенанта обучусь,
А в-третьих, ноги вымою!

– Не доверяю я этим мразям, Хулиан, – шепчет Ольмос.

– Молчи.

За расщепленной пулями дверью в «Дом Медика» виднеется подобие баррикады, сложенной из матрасов и обломков мебели. Бесконечная минута – и вот во тьме подвала начинается какое-то шевеление.

– Вон они, – стволом автомата показывает Панисо.

В проеме возникает мужская фигура – солдат в пилотке и с патронташами на груди, но без оружия, делает проход в баррикаде. Он виден лишь одно мгновение и тотчас исчезает, давая дорогу двум женщинам. Те выбираются на улицу: обе в трауре, который в Испании носит каждая вторая, обе в гипсовой пыли и, ослепленные дневным светом, двигаются неуверенно. На измученных лицах испуг. Та, что на вид помоложе, ступает неуклюже и с трудом, широко расставляет ноги, обеими руками поддерживает огромный живот. Вторая, постарше, помогает ей и слабо помахивает белым платком.

– У, мать их... – цедит Ольмос.

И уже собирается было встать и прийти им на помощь, но Панисо хватается за руку:

– Пусть одни идут... Мало ли что.

Взрывник следит за приближением женщин и одновременно держит в поле зрения дверь и окна в доме напротив. Оттуда время от времени показывается и тотчас прячется чья-то голова. Женщины уже добрались до этой стороны улицы, и Панисо их не видит.

– Скажешь, когда зайдут внутрь, – говорит он Ольмосу.

Он вытирает пот, заливающий глаза, и снова направляет ствол на дом напротив, поглаживает указательным пальцем спусковую скобу. По теням, которые уже начали удлиняться, можно судить, что еще часа два будет светло. Достаточно, чтобы в случае приказа начать новый штурм. Как ни хорохорятся легионеры, ясно, что они блокированы и сознают это. Да и осталось их немного. Интересно будет послушать этих женщин.

– Зашли, – объявляет Ольмос.

– Эй, вы, там! – кричит Панисо. – Эй, фашистюги!

– Чего тебе, краснопузый? – отзывается прежний голос.

– Добрались обе благополучно, происшествий нет.

– Отрадно. И вот еще что: родится мальчик – назовите его Франсиско, в честь генералиссимуса Франко.

– Ладно... А если девочка – в честь твоей потаскухи-мамаши.

С этими словами Панисо нажимает на курок и выпускает очередь по дому, откуда сейчас же следует ответная. И огонь чередой неистово-частых выстрелов прокатывается по улице из конца в конец. И война вновь вступает в свои права.

VI

Новый штурм восточной высоты республиканцы начали за час до рассвета. Красные, подбрав друг друга криками, упрямо карабкаются вверх по откосу, а перед этим их артиллерия долго молотила по гребню, и Хинесу Горгелю, втиснувшись в расщелину скалы, зажавшему в зубах веточку, чтобы от разрывов не лязгали зубы и не лопнули барабанные перепонки, казалось, что вокруг творится сущий ад – такой грохот стоит вокруг, так содрогается земля, так свистят осколки металла и камня. Когда наступившее вслед за тем молчание нарушили пронесшиеся вдоль позиций националистов крики: «Вон они ползут, вон они снова лезут», Горгель, как и все, очнулся от столбняка и начал стрелять.

Как пошло, так идет до сих пор: бывший плотник из Альбасете, чувствуя, как пересохло во рту, то слегка высовывается, то прячется, втягивает голову в плечи, потом прикладывает, передергивает затвор, стреляет, и у ног его растет горка блестящих гильз. И от постоянного ощущения, что все это происходит не на самом деле, ему кажется, что и тело как чужое, и он в прямом смысле сам не свой.

Да, он старается как можно меньше высовываться и прячется от пуль, которые жужжат, свистят и подвывают, зловеще щелкают о камни. Невозможно же, чтобы это длилось, устало думает он. Не бывает так, чтобы за полтора суток этого кошмара ни одна не попала в меня. Рано или поздно везение кончается – так случится и со мной.

Он охвачен безнадежным ужасом, но при этом сохраняет хладнокровие. Испытывает какой-то особенный страх. Не слепую безотчетную панику, когда человек бросает оружие, поднимается во весь рост и бежит вниз, назад, в тыл, бежит, пока его не свалят пули своих же офицеров. Нет, этот страх вполне сознательный, спокойный, не мешающий рассуждать и размышлять. Это почти математически безошибочная уверенность в том, что в любое мгновение в любую часть тела – сюда вот или сюда: в голову, в плечо, в грудь – ему будет нанесен удар, который искалечит его или убьет. И вероятность этого с каждой минутой все выше.

Дз-зынь, звенит металл о скалу справа и совсем близко.

Горгель, почувствовав, что пуля чиркнула его по спине, в испуге торопливо ощупывает себя, но обнаруживает, что под рассеченной тканью рубахи кожа лишь чуть вспухла, но не повреждена. Пуля срикошетила о камень, отлетела и сейчас лежит прямо перед ним. Он протягивает к ней руку и немедленно отдергивает, словно от удара током. Горячая.

Ранение, вдруг с ледяной отчетливостью понимает он. Другого выхода нет. Хорошее такое, не слишком тяжелое ранение поможет унести отсюда ноги. Выбраться из огня так, чтобы ни сержант с перевязанной ногой и с пистолетом в руке, ни любой другой офицер – вот хоть майор Индурайн, который все еще жив и перед атакой обошел позиции, ободряя людей, раздавая гранаты и патроны, – словом, никто не пристрелил бы его за бегство с поля боя. Пуля может спасти его шкуру в обмен все равно на что – да пусть даже на небольшое увечье. Хинес Горгель очень даже хорошо понимает, что самострел врачи мигом распознают, – ожог вокруг раны выдаст – и это будет означать верное свиданье с расстрельной командой, а вот пуля, пущенная красными, может, как ни странно, оказаться пропуском в жизнь. В этих обстоятельствах – единственным.

И тут Хинес Горгель вновь и неожиданно для самого себя начинает плакать. Потому что в этот миг подумал о жене и сыне, которых не видел уже два года и двадцать семь дней. Вспомнил и о вдовой матери. О письмах, отправленных через Францию и оставшихся без ответа. Об этой жестокой и лютой бессмыслице, в которую влип не по своей воле и откуда теперь силится найти выход.

Решившись, он поднимает левую руку. Сжимает зубы в ожидании дробящего удара. Зажмурившись, напрягшись всем телом, не опускает руку, держит ее в жужжании и свисте

пуль, ждет горячего толчка одной из них. Удара и боли. Держит до тех пор, пока в промежутке между двумя выстрелами не слышит за спиной голос раненого сержанта:

– Опустит руку, сволочь... А не то я сам тебе ее отстрелю.

Горгель замирает на миг, по-прежнему держа руку на весу. Не отвечает и не оборачивается. Потом медленно опускает руку, пока она снова не ложится на ствол винтовки.

– Каждый хотел бы оказаться подальше отсюда, – говорит сержант.

Горгель не шевелится. И сейчас не чувствует ничего, кроме изнеможения. И прежнего неодолимого желания скорчиться и проспать много часов подряд.

Пу-ум-ба. Пум-ба.

Это разорвались невдалеке гранаты.

– Стреляй, паскуда! Красные совсем рядом!

Так и есть. Всмотревшись в сгущающийся сумрак, Хинес Горгель замечает, что до республиканцев, лезущих по склону, уже меньше тридцати шагов. Карабкаются неустрашимо, понукаемые командирами. Несутся вперед прыжками, бросаются плашмя, прячась за валуны, стреляют и снова вылезают из-за них, чтобы метнуть вверх гранату, разворачивающую в воздухе белую ленту запала. Одни падают, другие продолжают продвигаться.

На самом гребне и на подступах к нему идет ожесточенная перестрелка: оглушительно гремят разрывы, звонко щелкают о камень пули, густо засеивают небо осколки мин. Кричат бойцы, требуя патронов, матеря противника, избывая в этих криках свой страх, давая выход своему бешенству.

Горгель механически прижимается щекой к прикладу, жмет на спуск, чувствует, как бьет в плечо отдача. Ладонью толкает затвор вперед, вставляет новый патрон, целится и снова стреляет. Что-то похожее на сильный порыв горячего воздуха проносится в нескольких сантиметрах от его головы.

– Эй, возьми-ка! – кричит ему сержант.

Горгель оборачивается, не понимая, чего от него хотят, и видит, что тот, по-прежнему сидя на земле и привалившись спиной к валуну, положил пистолет на живот и старается вскрыть серый, с немецкой маркировкой, ящик с гранатами, который недавно принес им майор Индурайн.

– Слышишь? Себе возьми и несколько штук Селиману дай.

Одуревший от грохота Горгель, плохо соображая, кладет винтовку и пробирается к нему. Жгут на ноге у сержанта, кажется, сделал свое дело – по штанине больше не сочится свежая кровь. Раненый очень бледен и упрямо стискивает зубы.

– Врежь этим гадам, – цедит он. – Вмажь им.

И с этими словами сует ему в руки несколько германских гранат на длинных деревянных ручках – Горгель таких прежде никогда не видел. Поглядев на них в нерешительности, две штуки сует за ремень, остальные берет в охапку, прижимает к груди. Они тяжелей, чем обычные. Каждая – примерно полкило весом.

– Беги к Селиману – и поживей, – понукает его сержант.

Горгель, так и не выпрямившись, под свист пуль над головой добегают до сосен.

Мавр лежит на том же месте, что и вчера, и стреляет как машина. Он снял красную феску, чтобы не бросаться в глаза; кудрявые волосы и усы слиплись от пота. При виде Горгеля с гранатами лицо перекашивается свирепой усмешкой.

– Аруми исен, – говорит он радостно и повторяет на ломаном испанском: – Ты понимаешь.

И вслед за тем, улыбаясь как ребенок, получивший новую игрушку, берет у него одну гранату за длинную рукоятку, отвинчивает крышку в ее нижней части, дергает за выпавший оттуда шнур. И потом, приподнявшись, швыряет ее вниз.

– Четыре-пять секунд, – говорит он.

Метрах в двадцати от них раздается взрыв. Воздух пропитывается дымом и земляной пылью.

– Бомба красавица, земляк... Так им, красной збочоли.

После минутного замешательства Горгель одну гранату затыкает за ремень, другую берет в руку, остальные кладет на землю и, пригибаясь, возвращается на свою прежнюю лежку, где оставил винтовку.

Теперь он ощущает острое, безотлагательное, властное стремление метнуть гранату вниз, в эти враждебные фигурки, что короткими прыжками, то и дело припадая к земле, лезут по склону. Он вдруг осознает свое могущество. У него появилось нечто такое, чем – если с толком применить – можно будет остановить врагов. Он способен переплавить в разящее оружие томительный тоскливый страх, от которого вот уже полтора суток у него сводит желудок, замирает сердце, болит голова. Отвинтив крышечку внизу рукоятки, он дергает за кольцо шнура и швыряет гранату. И следом, не дожидаясь результата, одну за другой – еще три. С ненавистью, с яростью, с желанием уничтожить, стереть с лица земли все, что угрожает его жизни.

Залегшие вдоль гребня высоты франкисты начинают делать то же самое. Россыпью летят вниз гранаты, гремят, вторя друг другу, разрывы, склон пересекает вереница оранжево-красных вспышек – особенно ярких в свете меркнувшего дня, среди теней, ползущих в сосняке. Перекрывая грохот, капрал Селиман испускает первобытный, дикарский боевой клич *регуларес*.

И это ведь тоже война, думает майор Гамбо Лагуна. Вернее, это прежде всего и есть война – походы и переходы, бег и ожидание.

А сегодня ночью, заключает он, придется походить.

Еще не полностью угас день – в сумерках, которые гуще на востоке и в низинах, видно, как над крышами Кастельетса поднимается столб темного дыма, – когда, черные против меркнувшего света, две из трех рот батальона Островского покидают кладбище и пересекают шоссе между виноградниками. Час назад был получен приказ сменить Второй батальон на восточной высотке, дав ему возможность зайти с фланга в Кастельетс, где все еще сопротивляются франкисты.

Гамбо, стоя со своим штабом на мосту, смотрит в бинокль, как идет его батальон, как в равномерном топоте многих ног – голосов не слышно – тянется длинная вереница фигур, и по мере того, как гаснет последний свет дня, делается все темнее. Солдатам запрещено курить, громко говорить и выходить из строя по нужде. И приказ этот выполняется неукоснительно. Даже навьюченные боеприпасами, тяжелыми минометами и пулеметами «максим» мулы, которых ездовые ведут под уздцы, и те двигаются почти бесшумно – слышно только цоканье их копыт по щебенке.

– Хорошие ребята, – замечает заместитель командира батальона капитан Симон Серигот.

Гамбо убежденно кивает. Этих дисциплинированных, молчаливых бойцов, пролетариев, закаленных в боях, он считает своими выучениками и лучшими в Народной армии Республики – ни единого случая дезертирства, неповиновения приказу или недостойного поведения. Сражаются, терпят лишения, получают раны, гибнут – и на их место приходят новые, так же тщательно отобранные и сражающиеся так же доблестно. На всех можно положиться, все коммунисты – и никого нельзя заподозрить в оппортунизме, и боевой дух высок у каждого. Командир заботится о них, а они – о нем. И не колеблясь идут за ним в огонь и в воду, а он это знает и по-настоящему ценит. Перед маршем лично распорядился накормить солдат горячим, доверху наполнить фляги водой, выдать каждому по сто пятьдесят патронов, по четыре ручных гранаты и по четверти фунта табаку на отделение.

– Совсем стемнело, – говорит Рамиро Гарсия, политкомиссар батальона. – Как бы не сбились с пути...

– Они знают, что делают, – отвечает Гамбо.

Воистину это так. Знают, потому что усвоили эту науку сначала ценой суровой муштры, а потом и собственной крови. Половина тех, из кого полтора года назад сформировали батальон, больше не значатся в его списках: шесть месяцев спустя многие остались на берегах Альфамбры, когда Кампесино – бездарный военачальник, жестокий и трусливый мужлан, которого Гамбо терпеть не может, – угробил свою 46-ю дивизию на подступах к франкистским позициям. Еще до этого батальон имени Островского доказал, чего он стоит, когда в Брунете, сломав хребет одной из лучших франкистских дивизий, стойко держался под бомбежками и артиллерийским огнем, не отступив ни на пядь, меж тем как Листер, анархисты и интербригады позорно удрали. И снова стал героем дня, отличившись под Теруэлем, когда ему довелось разгрызть крепкий орешек высоты 1.205: там было все – и сменявшие одна другую атаки по равнине, насквозь простреливаемой губительными пулеметами Легиона, и штыковой бой в траншеях, и сотни убитых и раненых в этой жуткой и дикой резне, где беспримерная, но хаотичная отвага одних наткнулась на фашистскую оборону, мастерски организованную по всем правилам военного искусства.

– О чем думаешь, майор? – спрашивает Серигот.

– Об Альфамбре.

– Ох, не напоминай... Не приведи бог опять пережить такое.

И с тех самых пор Гамбо делает все, чтобы его батальон накрепко усвоил урок Теруэля, вытвердил его назубок. Чтоб и батальон имени Островского стал шедевром военного дела – дисциплинированной надежной боевой единицей. Стальной машиной, одушевленной коммунистическими идеями. Он так и сказал своим бойцам перед переправой через Эбро, обратился прямо к ним, как обращался всякий раз, когда считал это нужным: заложил пальцы за ремень и встал перед строем, лицом к лицу с ними, не препоручая это своему комиссару. Товарищи, сказал он, вы – передовой отряд международного пролетариата. Мы с вами – не только испанцы, но и часть мировой революции, которую анархисты и прочие безответственные и безмозглые элементы торопят как только могут, однако мы, коммунисты, – люди терпеливые и знаем, что победа мировой революции невозможна, пока не будет одержана победа в этой войне. И сражаемся мы не только против Франко, но и за наших братьев, томящихся в застенках Гитлера и Муссолини, за пролетариев Англии и Франции, пока неспособных сбросить ярмо капитала, за американских негров, за преследуемых евреев. Ощетинившись штыками, мы стоим стеной, укрепленной научной истиной и разумом, меж тем как против нас – наемники или парии, которых силой гонят защищать чужое им дело. А мы – вооруженный народ, живший впроголодь и жестоко угнетенный, но скоро уже эта когорта оплатит за все и добьется победы. Итак – да здравствует Республика! Готовьтесь к бою, потому что нам снова предстоит показать, кто мы такие, чего стоим и какими станем.

Сумрак все гуще, люди и животные уже превратились в вереницу темных фигур, движущуюся меж совсем черных виноградников. Слышится хриплое ржание мула.

– Слишком много клади навьючили, – объясняет комиссар Рамиро Гарсия.

– Откуда знаешь? – спрашивает Гамбо.

– Да я ведь не родился парикмахером – вырос-то в деревне. Отец с семи лет брал меня на работу в поле... Мул – скотина исправная, выносливая, как хороший солдат. Жалуется, только когда совсем уж невтерпеж.

Кивнув, командир идет дальше. Любопытная штука эта Народная армия, думает он. И обнадеживающая. Не в пример франкистам, где почти все офицеры – представители военной касты, выходцы из кругов реакционной буржуазии, командные кадры Республиканской армии представляют самые разные слои народа, взявшегося за оружие: Рамиро Гарсия – из крестьян, капитан Серигот, единственный офицер в батальоне, служивший в армии еще до войны, был солдатом в Марокко, а потом капралом в Гражданской гвардии, а среди команди-

ров рот, выдвинувшихся по заслугам и прошедших военное и политическое обучение, есть и кондуктор мадридского трамвая, и ученик провизора из Куэнки, и приказчик из магазина мужского белья в Кордове.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.